

Приокское книжное издательство, Тула, 1987
FB2: , 09 October 2012, version 1.0
UUID: B1FE96A9-D852-42CB-8981-23FD8CDADB0B
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Николаевич Толстой

Пластун

Содержание

#1	0004
Вступление	0005
I. Непомнящий родства	0010
1	0010
2	0021
3	0034
4	0043
5	0054
6	0063
7	0077
8	0080
9	0095
II	0099
1	0099
2	0113
3	0126
4	0135
5	0147

**ТОЛСТОЙ Николай
Николаевич**

"ПЛАСТУН"

*Спасибо нашим Харьковским друзьям
Татьяне Селиванчик, Анне Акуловой
и Дмитрию Синцову за помощь в под-
готовке произведений Н. Н. Толстого.
Сканирование — Д. Синцов
Вычитка — Д. Титиевский
Библиотека Александра Белоусенко*



Т*олстой Николай Николаевич*
(Из воспоминаний пленного)



Вступление

Во время своего плена я познакомился с одним замечательным человеком: его звали в горах Запорожцем, хотя он носил, прежде много других имен, как увидит тот, кто будет иметь терпение дослушать мой рассказ. Никто не знал, кто он, какого рода и племени, знали только, что он долго жил на Кубани, потом жил в горах у разных племен и совершил много дел канлы[1], т. е. «многим людям пить дал», как говорят черкесы, вместо того, чтобы сказать: убил. Вообще его очень уважали и, может быть, даже боялись,

что почти одно и то же. У него было много кунаков между князьями и хорошими узденями, у которых он и жил в кунацкой, то у одного, то у другого, потому что своей сакли и своей семьи у него не было. С этим-то человеком я очень любил разговаривать, может быть, потому, что он рассказывал мне про Кубань, а в плену так приятно слышать хоть что-нибудь об своей стороне, а главное потому, что разговор его казался мне интересным. Он очень красноречиво описывал свою простую скитальческую, но полную приключений жизнь: он только не любил говорить о своем происхождении. Раз я спросил его: кто он: христиан или магометанин? — «Запорожец», — отвечал он. — Но какой же ты веры? — «Бельмесим (не понимаю)», — отвечал он, качая головой, хотя он очень хорошо понимал по-русски. — «Я знаю, что есть бог в горах, есть бог в степи, на Кубани, на море, везде бог... Один бог, — сказал он, подумав немного. — Когда я ходил там по Кубани (*несколько неразобр. слов*), я тоже видел, что есть бог, как и в горах, как и на море, когда ветер так сильно дует, что небо совсем пропал

бывает! Только черные тучи ходят то туда, то сюда, и ветер разносит дождь далеко по морю, которое страшно ревет, как будто сердится, а потом вдруг море делается тихо и прозрачно, как стекло, только немного шевелится, как будто тяжело дышит, как лошадь, на которой много скакали, а на небе светло, а тучи, молния и гром далеко, и сквозь небо видны горы и все так хорошо!» (и он щелкал языком, как делают обычно татары, если хотят выразить свое удовольствие). «Это все бог работает!» — прибавил он. Подобные выходки Запорожца напомнили мне Патфайндера[2], и я понимал, что это поэтическое создание американского романиста возможно и, может быть, нигде так не возможно, как на Кавказе, где природа так величественно хороша, что невольно всякому, даже самому грубому человеку напоминает своего творца.

«Отчего тебя называют Запорожцем?» — спрашивал я его не раз. — «Мой отец был запорожцем, эски-казак, старый казак», — прибавил он. — Но как же ты попал в горы? — спросил я его, потому что не раз он мне говорил сам, что его отец родился узденем, воль-

ным человеком. — «Это давно было, об этом не надо говорить», — отвечал он. В первом письме моем из плена на линию я просил, чтобы мне прислали бумаги, и через месяц я получил десть писчей бумаги; Сперва я вел свой дневник, но потом мне надоело писать каждый день одно и то же: 14 числа. Я целый день рубил дрова и, возвратившись, в награду получил гнилой чурек. 15 числа. Я пас скотину в лесу и целый день думал как бы бежать, но бежать нет возможности, и мальчишки, которые помогают мне пасти скотину, стерегут меня и, вероятно, для развлечения попеременно приходят мне плевать в глаза. 16 числа. Опять рубил дрова, опять пас скотину и т. д.

Мне надоело, я бросил дневник и стал записывать рассказы моего приятеля Запорожца о его жизни на линии. Они казались мне тогда очень замечательными, особенно, когда он мне их рассказывал на своем черкесском языке, который очень удобен для красноречивых описаний, поэтических сравнений и вообще отличается от всех известных мне горских наречий своей силой и оригинальными

оборотами речи. Мои записки показались подозрительными черкесам и раз у меня их отобрали и отвезли к какому-то беглому грамотному солдату, который прочел их и объявил черкесам, что это — «глупости». Их возвратили мне, и эти-то глупости я хочу рассказать вам, мои любезные читатели.

I. Непомнящий родства

Рассказ Запорожца о том, как он жил до того времени, когда попал в отрог

1

Я уже говорил вам, что отца и матери я не помню. Знаю только, что я родился в горах и маленьким перевезен на Кубань; там я жил на хуторе, который звали Журавлевским, потому что хозяин любил крик журавлей. Казаки-табунщики, с которыми я жил, звали меня татаринном и обращались со мной грубо. Один только человек ласково обращался со мной. Это был старый черкес (Раджих); я называл его Аталык[3] и любил как отца; казаки тоже звали его «Аталык», и я долго не знал его настоящего имени.

С молодых лет я начал заниматься охотой с Аталыком, который был ястребятник: у него бывало всегда 5 или 6 чудных ястребов, ловчих, балабанов и киргизов. Сперва я ловил жаворонков и разных пташек, догоняя их ястребом, потом я начал ставить пружки и кале-

вы[4]и ловить фазанов, зайцев и куропаток. Мне, я думаю, было не более 8 лет, когда я начал охотиться, а я уже по целым ночам просиживал один в степи. Много после того я охотился, много перебил кабанов, диких коз, сайгаков, оленей, туров, лис и разных зверей, но и теперь с удовольствием вспоминаю, как я тогда сторожил фазанов. Перед вечером я отправлялся в кустарник, где водятся они, брал с собой серп, ножницы или бичьяк[5]и начинал простригать дорожки в высокой и густой траве. Как теперь помню, как я, словно зверек, на четвереньках ползал по мягкой травке, душистой и влажной от вечерней росы. Устроив на этих тропках мои ловушки, я садился где-нибудь в куст и ждал, а между тем солнце садилось и небо краснело, как девушка, которая в первый раз остается наедине с своим женихом. Тогда эти мысли не приходили мне в голову. Я слушал голоса, которые пели кругом меня, слушал, как трещал кузнечик в траве, как кричал перепел, как свистал суслик, сидя на краю своей норки, как пел жаворонок, чуть видный в небе, как жалобно кричал ястребок, махая своими широкими

крыльями, как чирикали воробьи и другие птички, летая над моей головой в кусте. И когда где-нибудь кордокал фазан, сердце мое вдруг билось сильнее, и я весь сжимался, как испуганный еж, и если в это время подо мной хрустнет ветка, или зеленая ящерица, спокойно гревшаяся подле меня на солнце, пробежит, виляя хвостом по сухой траве, я весь вздрагивал, — так я боялся испугать мою добычу. И вот фазан выскакивает из куста, кричит, гордо оглядываясь на все стороны, отряхивает с себя росу и бежит, вытянув шею и хвост, вдоль по дорожке, и вдруг он трепыхается, попавшись в ловушку. В это время я не помнил себя от радости. И так я просиживал весь вечер и ночь. Особенно любил я время, когда дневной шум смолкает и ночь возвышает свой голос, тогда со всех сторон начинают откликаться фазаны, и я только успевал вынимать их из калевки, ползая от одной тропки к другой, как лиса. Но настоящие лисы часто успевали прежде меня унести пойманного фазана, и я находил только перья. Особенно помню я, одна лиса делала мне много шкгоды. У ней была позимь[6] недалеко от

хутора, в чудесном месте. Это была ложбина среди степи, кругом росла самая лучшая и густая трава, такая высокая, что тогда я мог в ней спрятаться с головой даже стоя; верно прежде тут была вода, потому что на середине был песок и круглые гольши белелись на солнце. С одной стороны ложбины стоял курган, до половины поросший терновником, из-за которого торчала голая верхушка кургана, как бритая голова татарина. На самой вершине целый день сидели беркуты и орлы, внизу была позимь моего врага и кругом всегда валялись птичьи перья и кости и целый день щебетали сороки.

Долго хлопотал я, чтобы поймать эту лису: часто, когда я сидел в своей сторожке, она пробегала мимо меня, поматывая пушистым хвостом и поворачивая во все стороны свою острую плутовскую морду. Наконец, Аталык научил меня делать ямки, которыми черкесы обыкновенно ловят лис и куниц. Я устроил такую ямку около позими и кругом расположил несколько калевов и с пистолетом, который утащил у одного казака, залег в траве. Вот попался один фазан, потом другой, лиса

все не выходила. Я сидел так тихо, что едва переводил дух; и вдруг черная мордочка показалась на тропке, ведущей к калеву, где трепыхался пойманный фазан. Лиса бежала прямо на ямку, и вдруг она скрылась в ней. Я прибежал и выстрелил: пуля пробила доску, и лиса взвизгнула; я с радостью откинул одну доску и хотел схватить лису, как вдруг она выскочила из ямы и побежала, — я за ней. Я заметил кровь на траве: лиса была ранена, пробежав несколько сажен, она упала. Когда я подбежал, она только судорожно дрыгала ногами и щелкала зубами, уставив на меня свои черные навывкате глаза. Я взял ее за хвост и с торжеством потащил домой.

Кроме фазанов, я ловил и зайцев, но замордовать такого знатного зверя мне удалось в первый раз. Я был совершенно счастлив! Зайцев я ловил в тех же кустах; Аталык выучил меня звать их на пищик: в жар, когда фазан сидит, я манил зайцев. Не успеешь, бывало, пискнуть два раза, и по дорожке уже бежит косою; через несколько минут уже он кричит в калеве, и я бегу к нему с колотушкой. Таким образом я целые дни и ночи просиживал в

этих кустах; я знал каждого зверка, каждую птичку, которая жила в них.

В этих кустах жило три соловья; я узнавал каждого из них по голосу. Особенно я любил одного, который обыкновенно начинал петь после заката солнца и смолкал только к утру. Бывало, когда солнце сядет и звезды зажигаются одна за другою и утки, звеня крыльями, полетят на воду, а ястреба, карги[7] и голуби потянутся в леса на свои места, и лягушки раскричатся в болоте, я начинаю прислушиваться и ожидаю с нетерпением моего пельника. И вдруг он запоет и громким щелканьем и посвистом покроет все голоса и один как царь, распевает, когда все молчит кругом. Мне нравился его звонкий, веселый и как будто гордый голос. Зимой, когда он улетал, я скучал по нем, как по товарище, весной я беспокоился, прилетит ли он, и только, бывало, услышу его голос в обычное время и на том же месте, я так рад, как будто нашел брата. Мне казалось, что я понимаю, что он поет; мне казалось, что он рассказывал мне, где он был, что он зовет меня туда, куда птицы улетают зимой, где нет зимы, где вечное лето,

вечный день и вечное солнце светит на вечно зеленую степь.

Когда, я ворочался на хутор и ложился спать под сараем вместе с птицами Аталыка, я видел, как ласточки, летая взад и вперед, слепляют над моей головой гнездо. Они тоже чирикали, тоже рассказывали про эту страну чудес, и когда я засыпал, мне снилось, что я сам — маленькая птичка плиска, что я сажусь на спину к большому журавлю, и вот журавль начинает махать длинными крыльями и подниматься от земли все выше, и я прижимаюсь к нему и, раздвинув немного перья, на которых сижу, смотрю вниз через его крыло. И вот мы летим через горы и внизу видны люди, маленькие и черные, как мыши; они роются в земле и достают золото и серебро и бросают в нас золотыми монетами, но монеты разлетаются в золотую пыль, и мы летим дальше и пролетаем ущелье между снежных гор. Нам холодно и ветер мчит нас так быстро, что дух занимается; и мы летим через море, и море прозрачно, как стекло, и в нем гуляют рыбы в огромных дворцах из жемчуга и дорогих камней. И вдруг налетает белый со-

кол и бьет журавля, и я падаю, падаю... и просыпаюсь. Чудные сны видел я тогда! Теперь уже более я не увижу таких снов. Теперь уже я не понимаю, что говорит соловей, когда он поет, о чем разговаривают ласточки, сидя под крышей сакли; а тогда я все это знал.

Но тогда я сам был зверек. Зайчик. Меня прозвали казаки «зайчиком» за то, что я ходил в заячьем ергаке. Даже Аталык называл меня Зайчик. — «Зачем ты называешь меня так? — спрашивал я его, — Ведь у меня есть какое-нибудь имя?» — «Есть, ты после его узнаешь, а теперь не надо», — отвечал он.

Мне тогда было уже лет 13, казаки уже перестали обращаться со мной грубо, я уже был почти полезным человеком в нашей артели. Аталык выучил меня вабить перепелов и подарил сеть, и я каждое лето налавливал более пуда перепелов. Когда перепела переставали, идти, я ловил куропаток, ставил вентели и загонял их туда кобылкой[8]. Для этих охот я все дальше и дальше заходил в степь. Чем дальше уходил я от хутора, тем мне было легче и веселее на душе. Идешь, бывало, по степи с кобылкой и смотришь: кругом тебя все

степь, зеленая, чудная степь; только кой-где стоит курган, да виден дымок нашего хутора, над которым с криком вьются карги, а в степи все тихо, как будто все отдыхает и спит, слышно даже, как сухая трава трещит под зелеными кузнечиками, которые стадами прыгают кругом тебя. И вдруг из норки выскочит байбак, сядет на задние лапки, свистнет и побежит, переваливаясь, назад, как; будто дразнит собак.

Я забыл сказать, что у меня тогда были две борзых собаки, Атлас и Сайгак. Мне щенками подарил их Аталык, я сам их выкормил, и они всегда были со мной, мы даже спали вместе. Мы расставались только тогда, когда я ходил ловить фазанов; тут они мешали бы мне, и я оставлял их дома. Они взбирались на крышу нашей сакли и долго, оборачиваясь, я видел, как они провожают меня глазами, повернув свои щипцы[9] в мою сторону. Когда я возвращался, они встречали меня на половине дороги и, виляя хвостами, визжа и прыгая, провожали меня домой. Чудные это были собаки, ничто не уходило от них, ни заяц, ни лиса; раз я даже затравил ими сайгака. Вот как это

случилось.

Как-то я за куропатками зашел так далеко в степь, что потерял из виду хутор. Собаки были со мною. Это было осенью, но день был ясный и теплый, как будто летом, длинные белые паутины летали по солнцу. Я шел тихо с кобылкой, — вдруг слышу как будто топот лошади: я посмотрел через кобылку: передо мной стоял большой козел; подняв свою длинную шею, он как будто рассматривал меня. Это был сайгак. Я никогда не видывал их прежде, и мы смотрели друг на друга с удивлением. Наконец я выпустил из рук кобылку; увидав меня, сайгак вытянул шею, прыгнул раз-другой и скрылся. Собаки бросились за ним, но было уже поздно. Я возвратился домой и рассказал про это Аталыку. На другой день на заре он взял у казаков пару лошадей и оседлал их. У него были богато убранные черкесские седла и несколько уздечек под серебро; видно было, что он прежде был богат: кроме седел, у него было богатое оружие: шашка под серебром, несколько кинжалов. Один очень мне памятен, потому что я после не видал таких кинжалов: это был очень

длинный, толстый, почти круглый клинок: железо было хорошее и очень тяжелое; Аталык легко пробивал им медные и серебряные деньги, «Этим кинжалом пробивают кольчуги», — говорил он, когда вынимал его, чтобы показывать, из пестрого разрисованного сундука, где хранилось все его богатство.

Этот сундук мне тоже памятен; сколько раз маленьким я сидел против него и рассматривал цветы и птиц, которые были на нем представлены, сколько раз я думал, что, когда я вырасту, то поеду в землю, где растут эти красивые цветы и летают эти золотые птички, сколько раз я видел во сне эту землю, когда засыпал на полу против огня, смотря на драгоценный сундук. Кроме того, у Аталыка был лук и стрелы; тул и колчаны были красные, сафьяновые, шитые золотом и шелками; на одном был вышит шелком белый сокол, на другой какая-то золотая птица. «Когда я умру, это все будет твое», — говорил мне старик. — «А ружья не будет у меня?» — спрашивал я его; мне тогда очень хотелось ружья. — «Лук лучше ружья, — отвечал он. — Когда люди не знали ружей, они были лучше, крепче держа-

лись адата[10] своих дедов и все было лучше; много зла сделали ружья». И он мне часто рассказывал длинную историю про лук и ружья; когда-нибудь я тебе перескажу ее, это очень хорошая история[11].

2

А что бишь я теперь говорил? — Да, вспомнил! Я говорил о том, как мы травили сайгаков. Мы выехали рано; я в первый раз ехал верхом. До этого мне только иногда удавалось садиться на лошадь, а именно, когда табун приходил на водопой. Мне нравилось сидеть верхом на спине лошади, которая спокойно, как будто не замечая моей тяжести, глотала теплую, красную и немного вонючую воду; мне нравилось то, что я сидел высоко и видел кругом себя лоснящиеся спины лошадей, которые, выкупавшись, спокойно стояли в воде, отмахиваясь черными хвостами от докучливых оводов и комаров, скоро прогонявших и меня от табуна домой к дымящемуся куреву. Теперь я взаправду ехал верхом и ехал один, в широкой степи, которую я так любил. Я был один, потому что Аталык, который ехал подле

меня, молчал; я так был занят лошадью, на которой сидел, уздой, которую держал в руках и которую иногда поддегивал, когда лошадь просила поводов, опуская голову между ног, или махала ею, чтобы отогнать комаров, стаей летавших за нами; я так был занят своим новым положением, что не обращал даже внимания на собак, которые бежали подле нас: с нами были Атлас, Сайгак и Убуши, старая черная сука, мать моих собак... Погода была чудная; солнце только что всходило и одно только кудрявое облачко, окрашенное его лучами, быстро несло по бледному небу; пробега мимо солнца, оно вытянулось, как змея, и бросало чуть заметно тень на зеленую траву, которая блестела от утренней росы. Наконец и это облачко скрылось, солнце взошло, и степь проснулась; тысячи птиц запели на разные голоса, ястребки начали подниматься, быстро махая крыльями, кое-где с звонким шумом поднимались стрепета, ласточки летали около нас, то мелькая мимо груди лошади, то подымаясь, то опускаясь, как будто купаясь в теплом воздухе.

Наконец, мы увидели что-то черное, это

был сайгак; он стоял, как каменный, на высоком кургане. — «Это часовой, — сказал Аталык, — свистни потихоньку своим собакам, чтобы они не отходили от нас». — Мои собаки не бросятся, — отвечал я. — «Ну, а Убуши уж не пойдет, она знает эту охоту». И действительно, эта собака как будто понимала, в чем дело, она посматривала на сайгака, но не отходила от стремени Аталыка. Мы стали объезжать кругом; когда мы заехали с другой стороны, то увидели весь табун, который пасся спокойно в долине. Мы продолжали объезжать их кругом, проезжая все на одном расстоянии от часового и все ближе и ближе к табуну. Некоторые сайгаки подымали голову, Смотрели на нас и потом спокойно продолжали есть, пятясь и толкаясь между собой. Наконец мы подъехали довольно близко. — «Ну-ка, Зайчик, у тебя глаза лучше; посмотри: видишь ли пятна на боках у молодых?» — Вижу, — отвечал я. — «Ну, так пора! А! Гоп!» — закричал Аталык и поскакал прямо на табун. Моя лошадь бросилась за ним: я сперва испугался и затянул поводья. «Пускай!» — закричал мне старик. Я пустил поводья и крепко

сжал лошадь ногами. Мы неслись как вихрь; теплый ветер дул нам в лицо, дух занимался; у меня рябило в глазах, я сперва ничего не видал, кроме травы, которая, казалось, уходила из-под ног моей лошади. Она скакала легко, и скоро я поравнялся со стариком.

— Молодец! Джигит! — кричал он.

Я, кажется, вырос на седле и тогда только осмотрелся кругом.

Сайгаки сперва бросились со всех ног, потом, добежав до тропки, которую мы пробили, объезжая их, они свернули и понеслись по ней; мы скакали на переём, отхватили отсталых и повернули их в другую сторону. Это были пестряки, т. е. молодые; их было 5 штук. Через несколько минут мои собаки повалили одного. Я проскакал мимо, потому что не мог удержать лошади: дав круг, я подъехал к собакам, которые держали сайгака. Я спрыгнул Наземь, вынул кинжал и ударил сайгака в бок: он закричал, прыгнул, вырвавшись у собак, но сделав два прыжка — упал и издох. Я оглянулся; лошади не было подле меня: спрыгнув, я бросил поводья; к счастью, она побежала к Аталыку. Скоро пришел старик,

ведя в поводу обе лошади; на одной лежал другой пойманный сайгак. Взвалив и моего на седло, мы пешие возвратились на хутор.

Вот как провел я свое детство и сделался охотником. После, когда мне случилось иногда при ком-нибудь соследить, наприм., зайца по чернотропу[12], меня почитали колдуном. Это казалось удивительно: но для меня, который почти родился охотником, это было очень просто. Меня этому выучил мой Сайгак. Мне очень хотелось узнать, как он отыскивает след, и я всегда наблюдал за ним, когда, виляя хвостом и опустив голову, он доискивается зайца. Я хорошо знал, в какое время и в какую погоду, в каких местах ложится заяц, знал сметки[13], которые он всегда делал, хорошо умел отыскивать зайца по пороше и, замечая приметы, едва видные для обыкновенного человека, как, например, свежий помет, обмоченную, помятую или сорванную травку или листок, я скоро выучился так же верно отыскивать зайца, как будто у меня было чутье.

Ребенком я уже начал охотиться, жил охотой и бог дал мне охотничьи способности —

верный глаз и тонкий слух. Это дал мне бог, потому что он дает всякому, что ему нужно: зайцу, сайгаку он дал крепкие ноги, мне он дал ум, волку, каргам — чутье, по которому волк придет, а карги прилетят на падаль из-за нескольких вёрст, ястребу он дал глаз, которым тот с неба видит маленькую птичку, маленькой птичке он дал крепкие крылья, чтобы она могла улететь от зимы туда, где ей лучше, байбаку, медведю, сурку, ежу он дал сон, чтобы они спали зимой, когда им нечего есть. Все это бог сделал, и оттого все люди знают его и молятся ему; даже звери и птицы молятся ему. Да, они молятся ему, когда солнце взойдет и каждая птичка взмахнет крылом и запоет, и каждый зверь, в какой бы гуще лесной, в какой бы тени, где и в полдень солнце не светит, в какой бы пещере и норе он ни был, всякий зверь вздрогнет и подымет голову к небу, даже на дереве каждый листок зашевелится и камыш зашепчет совсем не так, как всегда. И это бывает каждое утро: каждое утро все, что живет, молится богу, а я знаю людей, которые забывают бога. Я сам никогда не молюсь, но это потому, что я не

умею молиться, как молятся люди: я молюсь, как молятся звери и птицы. Говорят, оттого, что я не делаю намаз[14], не хожу ни в церковь, ни в мечеть, я не буду в раю. Я не знаю, что такое рай, не знаю, что будет, когда я умру, но знаю, что я не виноват, что не умею молиться: меня никто этому не научил, когда я был молод.

День и ночь круглый год я был на охоте. Летом я ловил фазанов, перепелов и зайцев, осенью я ловил куропаток и лис. Особенно я любил охотиться за лисами. Вот как я начал охотиться за ними. Раз я поймал лису, которая съедала моих фазанов в пружках: впрочем, я уже рассказывал об этом, но я еще не рассказывал, как я травил лис осенью. Верст пять от хутора был лес: когда я ходил за куропатками, я почти всегда доходил до него, садился на курган, стоявший на опушке, и любовался на лес. Особенно мне нравился шум деревьев во время ветра; мне очень хотелось взойти в лес, но он был так темен, так страшен, что я долго не решался. Раз, это было днем, в степи было очень жарко, из леса веяло такой прохладой, что я не вытерпел и за-

шел в лес. Я шел тихо: шум листьев и сухих веток под ногами пугал меня, я вздрагивал от всякого звука, все мне было дико, голоса птиц, раздававшиеся кругом, были мне незнакомы. Вдруг я услышал соловья. Я обрадовался ему, как другу, это был знакомый голос, но и он пел не так, как соловей, которого я слышал прежде: голос его громче раздавался под густым сводом деревьев, перекаты были сильнее, он, казалось, гордился своим зеленым дворцом и обширными владениями. Мне стало грустно, я вспомнил моего скромного ночного соловья в кустах, где я ловил фазанов. В то время его уже не было; раз осенью он улетел и больше не прилетал; я долго грустил по нем, мне хотелось знать, что с ним сделалось, нашел ли он место лучше или погиб где-нибудь,

Я долго ходил по лесу и, наконец, подошел к толстому дереву, белый ствол которого заметил издали.

Когда я приблизился, листья его зашевелились: ветра не было, — я вздрогнул и со страхом смотрел на дерево. Это было вечно говорящее дерево, белолистка. Потом я привык к

всегдашнему шуму его листьев, полюбил это дерево и всегда ложился под ним отдохнуть в жар. В ясный день лучи солнца, проходя сквозь него, рисовали под деревом разные кружочки, которые, казалось, бегали, гонялись и смеялись друг с другом. Это занимало меня, и я засыпал, слушая шум его листьев. Я просыпался уже вечером: вообще я всегда просыпался, когда захочу. Тогда я выходил на опушку и ложился на курган.

Собаки были со мной; они тоже нежились в густой траве, и мы ждали заката солнца, которое садилось за лесом. Тени от ближних деревьев делались все длиннее и длиннее и как будто подкрадывались к кургану; иногда, когда заря была очень красна, стволы деревьев окрашивались в какой-то странный, кроваво-красный цвет; это предвещало ветер. Мало-помалу все утихало в лесу, только над нами неслись ястреба, голуби и карги: они летели в лес спать. В это время лисы возвращались из степи в лес; их-то мы и ждали.

Едва покажется лиса, прыгая по густой траве, мы все трое подыдем головы и опять спрячемся в траву. Через несколько минут я

поднимаю голову и, обернувшись, уже вижу, как лиса мелкой рысью бежит к опушке. Тогда я вскакиваю на ноги и показываю её собакам. Они ловят ее, а я с кургана люблюсь этой картиной и помогаю им криком. И крик мой далеко разносится по лесу, который как будто с сердцем повторяет его, словно он сердится, зачем будят жителей его, птиц и зверей, которых он усыпляет под своей тенью, напевая им разные чудные, непонятные для нас песни.

Таким образом я почти каждый день, кроме куропаток, приносил одну, а то и пару лис. В последнюю осень, которую я пробыл на хуторе, я помню, что затравил 45 лис.

Обыкновенно зимой табун угоняли на низ в камыши, и мы оставались одни с Аталыком. Хотя и зимой я продолжал охотиться и покрывал шатром целые стаи куропаток и тетеревов, слетавшихся к хутору, но это было самое скучное время. Тогда Аталык рассказывал мне длинные истории про свою прежнюю жизнь в горах, когда он был молодым и славным узденем и наездником, про дела канлы, которые он считал окончательно прошлым и которыми он прославился когда-то.

Я с удивлением и каким-то страхом слушал, как в ущелье, на дороге, где два конных не могут разъехаться, на краю пропасти, дно которой едва видно, он поджидал врага. Я вздрагивал, воображая, как этот враг падал в пропасть, где шумит чуть видная река, и как орлы спускаются со скал, таких высоких, что ниже их ходят облака, как эти орлы ныряют в облака, чтобы спуститься на дно пропасти и там клевать глаза несчастного, который умер в бою и останется без погребения в этой страшной расселине, где не только ни родные, ни друзья не найдут его тело, расклеванное птицами, и костей, растасканных зверями, но куда даже солнце не светит и не смотрит на этот страх. Я любил слушать эти рассказы.

Иногда приезжали к Аталыку гости. Это большей частью были его кунаки. Некоторые из них были князья и уздени. Им Аталык оказывал особую почесть, сам держал узду их лошадей, сам снимал с них оружие. Они брали у него ястребов и других птиц и за то присылали ему и пешкеш[15] или лошадь, или пару волов, или несколько овец. Я как теперь пом-

ню их черные, седые, красные, подстриженные бороды, их важный вид, их ружья в черных чехлах и их блестящие шашки под серебром, их башлыки и шапки, которых они не снимали, сидя на корточках перед огнем и разговаривая на неизвестном мне языке. Теперь я знаю почти все горские наречия, но не могу вспомнить, на каком языке они говорили; разговоры их до сих пор остались для меня тайной. И даже теперь мне хочется иногда догадаться, о чем они говорили. Не раз, говоря между собой, они глядели на меня, и я понимал, что разговор шел обо мне. Теперь я догадываюсь, что Аталык тогда рассказывал им мою историю, и мне еще больше хотелось знать; что они говорили. — Скажи, отчего нам всегда хочется отгадать то, чего мы не можем знать? Отчего мне часто приходит в голову, что будет со мною, когда я умру? Мне много толковали об этом и муллы и священники в городе; я или не понимал их, или не верил им, но мне всегда хотелось узнать это, и я часто по целым часам думал об этом. Мне кажется, что, когда я умру, я не перестану видеть и чувствовать все, что я теперь чув-

ствую, что я буду любить то, что я теперь люблю, и ненавидеть, что теперь ненавижу. А может быть, я умру, как умирает дерево, срубленное под корень или вырванное ветром; оно сохнет, гниет, дождь обмывает его и солнце печет, а оно ничего не чувствует. Может быть! Я человек простой, не ученый, мне не нужно говорить об этом, но я не могу не думать об этом. Видно, бог вложил мне эту мысль и он мне это откроет только после, когда я умру, когда мне нельзя будет разболтать ничего. Один священник говорил мне, что у бога есть тайна: он долго говорил, и я не понял его, но верю, что есть тайны и большие тайны. Отчего ветер дует направо, а не налево. Отчего он разгоняет облака, когда уже воздух сделался тяжелым перед грозой и уже несколько крупных капель упало на сухую землю, растрескавшуюся от жары, когда все, начиная от человека до самой маленькой птички ласточки, которая низко носится над землей, все с радостью ждут дождя, а ветер разгоняет тучи и солнце опять начинает печь раскаленную землю? Отчего в одном месте дождь, а в другом нет, отчего молния сжигает

одно дерево, а сто деревьев рядом стоят целы? Отчего тысячи пуль пролетали мимо меня, сто раз люди и звери гонялись за мной, и несколько раз я думал, что последний час мой пришел, а между тем я жив, а сколько хороших, молодых богатых людей умерло в моих глазах? Отчего они, а не я? Отчего? — Это опять такая вещь, о которой простому, неученому человеку, как я, не надо говорить. Я лучше буду продолжать свой рассказ.

3

О чем бишь я рассказывал? Да, об Аталыке и его друзьях. Некоторые из них, казалось, боялись друг друга, потому что при других не снимали башлыка, а еще больше укутывались в него, так что из-под мохнатой шапки видны были только блестящие глаза. Это были кровоместники и гаджиреты[16]. Последнюю зиму, что я жил на хуторе, очень много гаджиретов приезжало к Аталыку; большая часть из них была кабардинцы. Я хорошо знал язык Адигэ[17], на нем мы обыкновенно говорили с Аталыком, и немного понимал кабардинский. Я помню, что они много жалова-

лись на русских, особенно на генерала Ермолова (они звали его «Ермолай»), они рассказывали, какой он злой и жестокий человек, как он покорил кабарду, как он приказал перебить даже жеребцов княжеских, и много другого, и слово казават[18] не замолкало в их разговоре. Это было, должно быть, лето 20 тому назад. Я был уже «хлопец моторный»[19], как говорят казаки; я хорошо ездил верхом, хорошо арканил и загонял табун. Чего же больше? Табунщики взяли меня с собой на зимовье.

Зимовье, куда в то время стонялись почти все табуны Черноморья, было довольно большое пространство, совсем покрытое камышом: летом оно почти совершенно «понимается»[20] водою, так что от воды и множества комаров и змей летом в нем никто не живет, разве какой-нибудь кабан-одинец или рогаль-камышник[21] бродит по ем, не боясь ни волков, ни охотников. Но зато зимой туда слетаются отовсюду лебеди, гуси, гагары, утки, козарки, а за ними летят орлы и хищные птицы, точно так же, как целая стая волков собирается туда вслед за табунами, которые при-

кочевывают на зиму. День и ночь пасутся там лошади, вырывая из-под мелкого и рыхлого, снега отаву на берегах озер, лиманов и заливов Кубани. На полыньях или незамерзших местах, которые, как острова, чернеют среди белого снега и над которыми всегда носятся густые туманы, с криком плавают большие стада водяных птиц, которые так смелы, что не поднимаются, даже когда вы подходите к ним, — так они редко видят людей. Кроме табунщиков, которые кочуют там зимой в кибитках, там нет никого. Эти табунщики рассказывали мне, что прежде в тех местах жили так называемые бобыли[22], мне показывали землянки, где жили эти смелые люди, первыми переселившиеся в Чёрноморье, где теперь так много станиц и городов. Теперь эти землянки — просто норы, где живут целые семейства лис, которые одни стерегут богатые клады, зарытые, как говорят, около своих землянок бобылями.

Рассказывают, что через эти места, проходили войска крымского хана, когда они ходили на Кубань и в горы; одно место и до сих пор называется Крымский шлях; это — самое

пустынное место в этой огромной пустыне.

Я после несколько раз был в этих местах. Однажды, это было летом, я и еще один пластун, Оська Могила, мы зашли туда охотиться за порешнями[23], которых там бездна. На маленьком острове мы выстроили себе шалаш и развели курево. От змей Могила знал заговор, но комары нам ужасно надоедали. Две недели жили мы в этом шалаше; один спал, а другой караулил. Днем порешни выплывали греться на солнце на изломанный старый камыш, который грудами плавал кругом нас; тот, который не спал, стрелял; гул выстрела далеко раздавался по воде, но он не будил того, кто спал: мы так привыкли к стонам птиц, которые день и ночь гудели около нас, что не обращали на них никакого внимания. Ночью порешни еще чаще показывались над водой и наши выстрелы чаще будили птиц, что спали вокруг. Раз я сидел настороже, вдруг слышу, — камыш трещит и мимо меня идет огромный олень. Я выстрелил; раненый олень пустился бежать, ломая камыши. Я разбудил товарища, и мы пошли по следам; с трудом пробирались мы по тем местам, где

видно было по огромным прыжкам, что раненый зверь бежал, как стрела. Могила шел впереди; я боялся наступить на змею, которые грудками ползали около нас или грелись на солнце, свернувшись в клубок. Могила шел смело, разгоняя змей длинным кленовым хлыстом; верст пять исходили мы по этому следу, наконец вышли на остров. Олень имел только силы добежать до него, упал и издох; никогда не видал я такого огромного рогаля: он был бурый, почти черный, на рогах, покрытых мохом, было по 21 отростку; на шее и особенно на холке у него росли длинные, чёрные и мягкие волосы, как грива у лошади. Мы сняли шкуру, обрубали рога, ноги, а мясо бросили и решили сидеть тут до ночи, надеясь, что ночью придут волки на свежую приманку.

Остров, на котором мы сидели, был чудесное место; напротив нас из-за камышей было видно вдали синее море и свежий морской ветер дул нам в лицо; на острове росла густая зеленая трава, которая резко отделялась от желтоватой зелени камыша, со всех сторон окружавшей ее; в середине острова стояли

три огромных вековых, кленовых дерева; толстые, в несколько обхватов, покрытые седым мохом, тела их были обвиты хмелем, резкая зелень которых смешивалась с более грубой зеленью кленовых листьев; сильный запах хмеля распространялся по всему острову. На этих деревьях было, верно, более ста гнезд, на которых, согнув шею и свесив ноги, сидели цапли и чепуры всех пород, начиная от огромной белой чепуры до маленькой золотистой цапли с белым хохолком. Другие цапли стояли, как частокол, кругом всего острова, и я любовался, как они аккуратно сменялись, летая тихо и плавно с берега на деревья и оттуда к камышу. Целое стадо оленей паслось под тенью этих деревьев.

Мы не стреляли по ним, и они спокойно ходили до вечера, когда к нашей приманке стали сходить лисы. Их собралось уже штук пять, когда мы выстрелили; две лисы остались на месте. С криком поднялись цапли, камыш загудел от топота оленей. Потом скоро все успокоилось; птицы опять воротились на свои гнезда, но олени более не приходили. Волков тоже не было, но зато мы застрелили

В эту ночь восемь лис, из которых три были чернобурые.

Через несколько лет я был опять на этом острове; мне хотелось посмотреть это место, но я почти не узнал его. Камыш во многих местах был выжжен, даже воды, сделалось меньше, и там, где прежде плавали лебеди, видно было, что был сенокос. На острове был построен хутор, из трех деревьев осталось только одно и оно стояло за забором, по которому вился хмель; только два аиста, которые свили гнездо на самой, вершине дерева, да запах хмеля напоминал мне прежний остров, населенный цаплями, оленями и лисами. Теперь по нем гуляли индюшки и двое ребят играли с дворовой собакой. Увидав меня, они побежали в хату; собака сперва зарычала, потом громко залаяла, какая-то женщина открыла окно и сейчас же со страхом захлопнула. Наконец вышел хозяин с ружьем. Это был старый казак; по лицу его было видно, что он давно перестал казачить и сделался мирным хуторянином. Я перепугал его детей, и мне стало совестно и даже грустно.

Все переменялось на этом острове, кото-

рый я оставил таким диким. Теперь на нем спокойно жили мирные люди, а я остался таким же диким, таким же байгушем[24], как прежде. Я испугал детей, а между тем я всегда их любил. Мне тогда пришло в голову, да часто мне и теперь эта мысль приходит, что ежели бы в молодости я женился, я бы не был ни гаджиретом, ни байгушем, не приобрел бы, может быть, славы хорошее го стрелка, но зато не пугал бы детей и, может быть, был бы счастлив. Может быть! Но видно так не должна было быть! Я спросил у казака дорогу на Журавлёвский хутор; он недоверчиво посмотрел на меня и сказал, что такого хутора тут нема! — «Может быть, Журавлевский хутор и не существует?» — подумал я и пошел потихоньку своей дорогой одинокого человека, байгуша, гаджи! Да, вот какова моя жизнь. Давно это было, а я все, как теперь, помню: как я охотился с Моголой, как сидел настороже, когда он спал, как светила луна в это время и блестели звезды.

Раз я спал, Могола сидел настороже. Вдруг он будит меня: «Ем!» — говорит он со страхом, показывая мне рукой на огромного кабана,

который, подняв морду, растопыбив уши и раздувая ноздри, стоял перед нами. Могила был очень храбрый человек, мы вдвоем раз отбились от целой партии шапсугов[25], а теперь он был бледен и дрожал, как лист. Дело в том, что кабан был действительно необыкновенный: он был совершенно белый. Я приложился. — «Не стреляй, — сказал Могила, — это твоя или моя смерть пришла за нами». Я не поверил, или, лучше сказать, не понял, что он говорит; я знал, что мы съели почти все сало и бурс (?), который взяли с собой, а соль была у нас, и из кабана мы могли покоптить окорок. Я выстрелил, кабан упал на месте. Я взглянул на Могилу: бледность и смущение его прошли; он только сказал мне, что он рад, что я, а не он убил кабана, что его отец тоже убил белого кабана и потом через две недели помер. «Смотри, чтобы и с тобой чего-нибудь не случилось», — прибавил он. — Ничего! — ответил я. И действительно, со мной ничего не случилось, а через месяц бедного Могилу убили на тревоге.

Рассказы Могилы о черногривом олене и белом кабане, его смерть — долго оставались

в памяти у наших товарищей пластунов. Кроме того, говорили, что там зарыт клад, что несколько казаков на этом месте обх. М. (?) и долго потом казаки уверяли, что Крымский шлях — проклятое место.

4

Недели через две, как мы поселились на зимовье, мы отправились туда на охоту за волками, которые каждую ночь, если не в том, так в другом табуне, зарезывали или жеребенка или молодую лошадь. Туда съехались табунщики всех хозяев, их было человек 150; у некоторых были ружья, у других длинные копья, колотушки, у кого арканы и укрюки [26], некоторые привели с собой собак. Мои собаки тоже были со мной; кроме того, у меня был кинжал и аркан. Мы окружили цепью или лавой огромный остров камыша, где было главное убежище волков, и с криками начали съезжаться к сборному месту. Сборным местом был избран Обожженный Мыс. Это был узкий мысок, который огибает глубокий и широкий рукав Кубани; на конце его стоит высокий дуб, обожженный молнией; черный

ствол его был виден за несколько верст. Мы с криком начали съезжаться к этому дубу, сперва шагом, потом, как стали показываться волки, на рысях. Боялись ли мои собаки волков, или пугали их камыши и неизвестные места, только они шли осторожно за моей лошадью. Подле меня казак с двумя дворняжками травил уже третьего волка: мне было, ужасно досадно, когда вдруг этот волк вырвался у его собак и бросился под ноги, моей лошади, которая сделала такой скачок в сторону, что я насилу усидел в седле. Когда я остановил лошадь, собаки мои уже повалили волка. Я слез с лошади, приколот его, опять сел верхом и поскакал догонять своих товарищей. Я догнал их уже на мысу. Несколько десятков волков еще бегали по мысу; мои собаки, ободренные первой удачей, словили тут еще трех волков, а одного я задушил арканом. Наконец, большая часть волков была перебита, некоторые только спаслись вплавь. Мы стащили убитых в кучу: их было 123 волка. Такого рода охоты делаются несколько раз в зиму и называются лавой. Обыкновенно на лаву приезжало человек 20 хорошо вооружен-

ных казаков и оттуда отправлялись в набег за Кубань. Они пригоняли оттуда скот — баранту, а иногда пленных. Мне очень хотелось отправиться с ними, но они не взяли меня, потому что я был плохо вооружен. Зато, когда они возвращались, меня послали с добычей, а именно с барантой[27], на Старую могилу — курган, где ногайцы пасли казачью баранту. Я шел целый день дорогой и бросил много баранов, которые не могли идти. Долго слышно было, как больные животные блеяли, как будто жалуясь; голос их часто покрывался воем волков, которые бросались на них, только что мы скрывались из вида; наконец, они до того ободрились, что на глазах у меня разорвали барана; некоторые из них шли за моим стадом шагах в ста, не более. Стало темнеть; белые тяжелые тучи нависли на темно-сером небе, как будто готовы были раздавить нас снегом, которым, казалось, они были полны... Кроме завыванья волков, которые перекликались в глухой степи и глаза которых горели, как свечи в темноте, да изредка жалобного блеяния баранов, которые шли толпясь передо мной, или унылого звона колокольчиков

на шее козлов, выступавших перед стадом, ничего больше не было слышно кругом. Мне стало страшно, я боялся сбиться в темноте. Делалось все холоднее, резкий ветер дул, заметая наш след. Тучи немного прояснились, и по звездам я увидел, что иду верно; вдали слышался лай собак: аул был недалеко. Что-то черное показалось на белом снеге, это был ногаец, который выехал мне навстречу. Окликнув меня и узнав, зачем я иду в их аул, он поехал со мной. Мы подошли к краю оврага; баранта остановилась, ногаец крикнул, и баранта стала спускаться в овраг, на дне которого были разбросаны кибитки. Ногаец стал перекликаться с своими: к нему вышел мальчик с двумя собаками, он передал ему баранту, а сам проводил меня к старшине. Это был седой старик, который принял, меня радушно, особенно когда узнал имя моего Аталыка: он был его кунак. Котел с чаем висел над огнем, жена его подала нам по чашке, и мы начали пить, пока старушка хлопотала около огня, приготавливая чуреки и шашлык из одного из моих баранов, только что зарезанного. Я, сороп[28], до сих пор живший между такими же бобы-

лями, как я, с удивлением смотрел на детей и женщин, которые хлопотали в кибитке моего хозяина. В одном углу висела люлька, и девочка, качая ее, пела длинную унылую песню про какую-то пленную ханшу. Ветер, шевеля пеструю полость, как парус поднятую над дверью кибитки, и донося до нас то лай собак, то вой волка, иногда заглушал голос девочки, но вслед за тем он опять раздавался, и слова песни долетали до меня отрывками.

На другой день мы с Али-бай-ханом (так звали старика) поехали к моему Аталыку. Я хотел просить его, чтобы он дал мне оружие, казаки хотели идти в набег после лавы, назначенной через неделю на самом берегу Кубани. Один из татар, провожавших старика, брался быть нашим вождем, это был надкуаджец[29], гаджирет; он бежал из гор по какому-то кровному делу. Его звали Нурай; это был человек лет 20 не более, но лицо его было испорчено шрамом на левой щеке и казалось старше. Дорогой он нам рассказывал про горы, из которых он вышел уже более года и куда, видно было, ему очень хотелось вернуться. «Хорошие места Надкуадж и хорошие лю-

ди живут там, вольные люди. Здешние люди это — бараны, а тамошние люди — это сайгаки. Вольные люди, хорошие люди». — «Зачем же ты хочешь идти грабить этих хороших людей?» — спросил его Али-бай-хан, которого брови очень нахмурились, когда горец назвал его и его людей баранами. Нурай молчал. — «Да, что тебе сделали эти хорошие люди?» — спросил я: — «Да, они хорошие люди, — продолжал Нурай, не глядя на меня. — Там молодые не мешаются в разговор людей». Я знал, что горцы называют человеком только воина, и понял, что он говорит это на мой счет. Я хотел ответить, но он, обращаясь ко мне, продолжал: «Не сердись, ты еще молод, никто еще не обижал тебя, никто не сломал еще сакли, в которой ты родился, козы не пасутся на том месте, где стояла сакля, в которой родились и умирали все твои родные деды и прадеды, никто не продал твоих братьев и сестер туркам. Отец и мать твои не бродят, как нищие, из аула в аул, они живут теперь спокойно в своей стороне, а мой отец, может быть, ночевал вчерашнюю ночь где-нибудь в пещере, как дикий зверь, а все за то, что я, сделал

то, что он делает каждый день».

— Кто он? — «Наш князь», — отвечал наш горец. — «Так вот что князья делают с вольными людьми в горах», — сказал Али-байхан. — «За то и мстят вольные люди; за то в наших аулах чаще слышны ружейные выстрелы, чем крики баб, которые спорят у вас за курицу; за то каждый горец с 5—10 лет уже умеет стрелять и готов отомстить за свою обиду или убить гяура; зато русские боятся ходить в наши горы; за то мне только 20 лет, а уж три раза после того, как я встретился с жителями Нардак-аула, их бабы собирались на «сожаление» по убитым, уже несколько винтовок в Нардаке заряжены и ждут меня. Когда меня наш князь обидел, я бежал в Нардак-аул, потому что их князь в войне с нашим. Но их князь сказал мне, что до тех пор, пока не сгниют памятники на могиле тех его людей, которых я убил, мне нет места в его аулах. А мне только 20 лет», — прибавил горец.

Мне тоже было 20 лет, а я еще не слышал свиста пули и еще не был человеком по мнению горца. Мне очень хотелось быть в набеге,

но я боялся, что Аталык не позволит мне. Но я ошибся; когда мы приехали и он услышал, в чем дело, он подумал немного и сказал наконец: — «Хорошо, Зайчик, я дам тебе оружие», и на другой день, когда мне надо было отправиться, он дал мне кинжал, шашку и ружье.

«Смотри же, Зайчик, помни мои советы; я старый, человек, а молодые должны слушаться старших». И я помню до сих пор, что он говорил мне тогда. «Вот тебе ружье, — говорил он, подавая мне старую винтовку. — Было время, когда во всем нашем ауле, а из него выезжало в поход за князем по 300 и более человек, было это одно ружье, которое султан прислал в пешкеш отцу нашего князя. Вот тут, была золотая надпись на стволе, но она уже стерлась; на ней было написано имя султана и имя одного пророка, святого человека, который умер, по дороге в Мекку. Это ружье было тогда драгоценность; старый уздень возил его перед князем, когда он ехал в мечеть, и самые почтенные старики вставали перед ружьем князя: Но нашелся один, который не только не встал, но даже натянул лук, и старый уздень упал мертвым»[30].— «Лови, дер-

жи его, бей кровоместника!» — раздалось на площади. На мне был башлык и в руках ружье князя, и никто не смел подойти ко мне; я спокойно ушел из аула и с тех пор не возвращался домой. Я никогда не стрелял из него; я не люблю ружей, я привык к луку. Но теперь, когда у всех ружья, помни, что это главное твое оружие, и употребляй его редко. Не стреляй далеко, не стреляй и близко. Когда враг близко, вынимай шашку и руби, но помни, что, когда ты на лошади, стыдно рубить по лошади: старайся попадать по всаднику и всегда руби наотмашь слева направо, тогда неприятель останется у тебя всегда под правой рукой; если он остался сзади, старайся круто повернуться влево и стреляй, пока он тоже повертывает коня. Вообще же, стреляешь ли, или рубишь, никогда не выпускай поводьев. Если ты пешком, а неприятель верхом, руби лошадь; если попадешь, она сама сбросит седока, тогда вынимай кинжал, — это последнее оружие. Впрочем, казаки лучше любят встречать баранов или скотину, чем черкесов; они ходят воровать, а не воевать. Будь только осторожен. Хороший человек

должен быть всегда настороже, а в чужой стороне боясь всякого куста. Кто прежде боя боится всего, тот ничего не боится во время боя — говорят старые люди.

И много толковал он мне, отпуская меня на первое воровство. Он был черкес, а у них воровство важное дело. «Помни, что ты мой емчик[31], не осрами меня на первый, раз», — говорил он мне, покачивая головой, и седая борода его дрожала, и глаза смотрели на меня с любовью, как на сына. Да, он был черкес, а любил меня, как сына. Впрочем, он, кажется, не был магометанин, он был старой веры[32]. Не знаю, какая это вера, но я много видал стариков, которые, как я, были ни магометане, ни христиане. Они были все хорошие люди, держались старого адата, были верны своим кунакам, кто бы они ни были: русские или черкесы, христиане или магометане. Если они делали зло, воевали или мстили, — и воевали и мстили они не так, как теперь; они делали это оттого, что их обидели или на них нападали, а не потому, что они магометане, — как теперь. Они не верили, что убить гура — дело приятное богу. И я не верю этому,

это вздор!

Ты знаешь, что я по вечерам часто сижу на горе, что за аулом. Солнце еще видно оттуда, оно как будто висит над снеговыми горами, как будто боится опуститься и потонуть в этом море снега.

А в ауле уж солнце село, мулла уж кричит, народ идет в мечеть, старики и женщины выходят на крышу творить намаз, бабы возвращаются от источника с водой, стада с шумом спускаются с гор, все шевелится, все суетится, а все кажется так мало, так мелко, что странные мысли приходят в голову. Одни только горы все также прекрасны, так же огромны, как всегда; это потому, что их большой мастер работал, тот, который живет так высоко, откуда и горы и лес кажутся такими же маленькими, как и аул. А люди? Людей не видать оттуда; не видать, сколько и зла, которое они делают здесь на земле, которую бог создал для их счастья. Магометане, христиане, гяуры, — бог всех сделал счастливыми. А несчастье и зло сделали сами люди. Бог не мог сделать ни несчастья, ни зла! Вот какие мысли приходят в голову, когда по вечерам я

сизу на торе.

5

Али-бай-хан тоже видел, что Аталык очень меня любит, и я заметил, что не только он, но даже и Нурай стал смотреть на меня с уважением. Все татары очень уважали Аталыка. Али-бай-хан подарил мне лошадь, на которой я приехал. Нурай обещал приехать на лаву и сдержал свое слово. Казаки согласились взять меня в набег, а его в вожаки.

По словам его, переправившись через Кубань, нам надо было идти верст 10 до реки, которую черкесы называют Куапсе, а казаки — Рубежный Лиман, и, переправившись через нее, остановиться верст за 5 до Двух Сестер[33]. Это уже было предгорье Над-Кокуаджа. Гора эта, хоть и не велика, но дорога дурна, или, лучше сказать, дороги совсем нет, надо идти лесом, потому что на дороге, по которой ездят обыкновенно черкесы, стоит их пикет. Решились выступить ночью и дневать в лесу: Нурай обещал в два часа провести нас через гору до речки, по которой уже поселения горцев. Оттуда вверх останется, — гово-

рил он, — верст пять до долины, где зимуют стада всех окрестных аулов. Мы дневали, как условились, у подошвы Двух Сестер в лесу. День был ясный, и морозный густой иней шапками лежал на деревьях и блестел на солнце, как серебро. Снег хрустел под ногами наших коней, которые, поевши овес, стояли, повесив головы и вздрагивая от холода; огонь наш чуть дымился: мы боялись разложить большой костер, чтобы не открыть себя. Сизые витютни[34] кружились над дымом и смело садились на деревья около нас. Видно было, что человек редко бывал в этой глуши; пропасть следов заячьих, лисьих и оленьих по всем направлениям скрещивались и разбегались по лесу. — «Смотри: долгонос!» — сказал один из казаков. И действительно, долгонос вился над дымом. «Видно, что здесь есть близко где-нибудь теплое ущелье; где они зимуют». — «Верстах в двух отсюда в балке есть горячий источник», — отвечал наш вожак. «Зачем же ты нас не привел к нему? Авось либо там было бы не так холодно», — сказал один из казаков, потирая руки. — «Туда не проедешь верхом, а пешком, ежели хотите,

так пойдём».

Несколько казаков отправились с вожаком, другие стались при лошадях. Я пошел с ними. Мы шли целиком. Несколько раз мы поднимали оленей; сороки и дятлы с криком следили за нами, перелетая с одного дерева на другое. Иней сыпался с деревьев. Перейдя два перевала, мы очутились на краю балки или, лучше сказать, пропасти, на дне которой протекал источник. Густой пар, как туман, поднимался над ним: кругом чернела земля, не покрытая снегом. Мы спустились к воде и уселись на зеленой траве, которая росла по берегам. Птицы всех родов, которых мы испугали, голуби, долгоносы, фазаны, куропатки, перепела и разные птицы, которых я никогда не видал, с криком летали и вились над нашими головами, наконец, успокоились и уселись на берегу воды или в кустарниках на другой стороне балки, которая была еще круче, чем та, по которой мы спускались. Иногда на краю этой каменной стороны показывался тур и вдруг бросался вниз головой с высоты, потом вскакивал на ноги, начинал спокойно пить, или, увидав нас, как стрела, мчался по

ущелью и пропал в лесу. Все это я очень хорошо помню, потому что это новое место, новое положение мое, все это меня занимало. Я с удовольствием смотрел, как сокол, вдруг появившийся в небе, как пуля, проносился по долине и потом плавно подымался опять в небо. Испуганные птицы старались скрыться, но всегда неудачно. Он, как камень, падал вниз и всякий раз, когда опять подымался вверх, в его когтях была добыча. Наконец, я заметил, что лиса пробиралась по скалам, и, свесив голову, смотрела на птиц, которые беззаботно прохаживались у самых ее ног, — и вдруг она бросалась, вниз. Птицы с криком подымались, а она, схватив одну из них, опять вскарабкалась наверх и скрылась в норе. Это была чудесная чернобурая, почти черная лиса.

«Можно ли развести здесь огонь?» — спросил я жожака. — «Можно, — отвечал он, — дым смешается с паром и не будет виден». Я перешел на другую сторону и, карабкаясь по утесам, отыскал три отнорка: у самого нижнего разложил огонь, другой завалил камнями и сел с шашкой у третьего. Товарищи мои

спали. Но вожак, которого верно занимали мои проделки, стал раздувать внизу огонь, и скоро тонкая струйка дыма показалась из верхнего отнорка. Нора была сквозная, но лиса долго не выходила. Я не терял терпение, кругом был снег, но теплый пар, который поднимался от источника, делал холод сноснее. Я просидел тут целый час; много передумал я в этот час. Я вспомнил свое детство, спрашивал сам себя, зачем я здесь, зачем я иду грабить людей, которые мне не сделали зла, вспомнил слова моего Аталыка, Али-бай-хана, и вдруг мне приходила в голову песнь, которую пела девка, качая ребенка в колыбели. И долго старался я вспомнить эту песню про пленную ханшу и думал про эту пленную красавицу. И много мне приходило в голову таких мыслей, которых никогда прежде не бывало, да и после не бывало; только после я часто вспоминал это ущелье. Раз я нарочно ходил из Дахир юрта (я жил тогда в Дахир юрте), чтобы найти это ущелье. Это было летом; мне казалось, что летом это ущелье должно быть еще лучше, но, сколько я ни бродил около горы, я не нашел этого места. И я вспомнил то-

гда сказку про заколдованное место, где жила какая-то княжна или ханша: даже теперь мне иногда кажется, что это было волшебное место или сон. Сидя над норой, свесив ноги с камня, я действительно задремал, как вдруг будто кто меня толкнул; из норы ползла лиса. Я ударил ее шашкой, она было скрылась в нору, я хотел взять ее рукой, но она проскользнула у меня между ног и побежала вдоль утеса. Кровь лилась из ее раны на снег. Вдруг раздался выстрел; лиса покатила вниз. Казаки вскочили и спросонок спрашивали друг друга: «Кто выстрелил?» — «Я», — отвечал Нурай. — «По ком?» — «Вот по ком», — отвечал он, показывая на мертвую лису. Казаки, молча, переглянулись. Нурай понял, что они боялись измены. «Вот он ее ранил, — говорил Нурай, — и если бы она ушла, это был бы дурной знак». Я предложил им Нурая в проводники; они верно подумали, что и я изменник, что мы выстрелом подали знак горцам; поговорив между собой, они решили сейчас же идти далее. Нурай ехал впереди; я заметил, что тот, который поехал за ним, справляет ружье. Не подозревая ничего, я хотел сделать то же, но

один из казаков подошел ко мне и, взявшись за мое ружье, сказал. «Нет, братику, давай-ка лучше рушницу мне!» — «Отдай им ружье», — сказал Нурай и сам показал пример, но я не хотел их послушаться. — «За что вы меня обижаете, братики, ведь я не горец!» — «А кто же ты? Хуже горца, бродяга, не помнящий родства! А?» Я не знал, что ответить, но ружья не отдавал. Я вспомнил слова Аталыка. «Пойми, что ты мой емчик, не осрами мою седую голову». Я готов был убить кого-нибудь из них. Наконец, один из казаков вступился за меня. Это был старый казак Павлюк. Мы тронулись, но казаки все примечали за мной и Нураем.

Пока мы шли лесом, дорога была очень дурна, снег шапками валился с деревьев, лошади вязли в снегу. Потом начали спускаться, лес стал редеть, местами видны были следы саней, на которых горцы возили дрова; наконец, мы выехали на дорогу. Она вела к хутору, огонь которого виднелся вдали; он то вспыхивал, то пропадал. Мы не спускали с него глаз. По обеим сторонам дороги стояли огромные сосны; жители Надкокуаджа почи-

тают за грех рубить это дерево. В первый раз я видел эти красивые деревья, зеленые их верхушки, которые, как мохнатые шапки, нависли на прямые стволы, навели на меня какой-то страх. Я вспоминал в ту минуту, когда ребенком я первый раз вошел в лес. Мы повернули с дороги направо и начали спускаться в долину; я несколько раз оглядывался назад и любовался, как луна выходила из-за горы и длинны? тени сосен вытягивались по полугоре. Вдруг что-то мелькнуло между соснами. «Верховой!» — закричал я. Казаки обернулись. Это был, действительно, верховой, который ехал по дороге. Он не успел опомниться, как мы окружили его. Казаки не хотели стрелять и не знали, что делать. Нурай заговорил с ним на их языке. Тот обернулся назад. Нурай воспользовался этой минутой и, вынув кинжал, ударил его так сильно в бок, что тот упал с лошади; кинжал остался в ране. Это случилось так быстро, что я только слышал отчаянный крик умирающего, который лежал и бился на снегу. Павлюк соскочил с лошади, вынул кинжал из раны и подал, его Нураю, который хладнокровно обтер его о чер-

кеску и вложил в ножны. Раненый перестал кричать, он умер. Казаки раздели его, сняли оружие, взяли его лошадь, и мы поехали дальше.

Наконец, мы спустились на речку и, разделившись на две партии, остановились. Мы были скрыты крутыми берегами реки. Нурай, Павлюк и еще два старых казака поехали осматривать местность. Ночь делалась темней; это было за час до рассвета. Мы, должно быть, были недалеко от жилья, потому что слышно было, как кричали петухи и как мулла призывал к молитве. Только что наши объездчики успели вернуться, как мы услышали крики пастухов, которые гнали стадо: один из них пел. Мы ждали молча; наконец, стадо начало спускаться к речке. Мы с гиком выскочили из засады; стадо шарахнулось, подняв целую кучу снега. Пастухи выстрелили в нас; их было двое пеших, они не могли уйти, их изрубили. Мы выгнали стадо на дорогу. Нурай с четырьмя доброконными поскакал вперед, чтобы снять пикет на дороге. Мы слышали, как поднялась тревога на долине, как жители перекликались и стреляли из ружей.

Наконец, показалась погоня, но было уже поздно. Мы взогнали стадо в лес: у пикета встретили мы Нурая и наших; один из казаков был тяжело ранен, зато оба караульные на пикете были убиты. К вечеру мы благополучно догнали отбитый скот до Рубежного лимана; тут начинались камыши, и мы были безопасны. Набег наш был удачен; нам досталось слишком 100 штук рогатого скота. Только раненый наш умер, не доезжая до Рубежного лимана; зато мы убили пять человек.

6

Я уже говорил вам, что там, где зимовали табуны, кроме табунщиков, никого никогда не было; там делались эти кражи, угоны и перетавровка[35]. Многие казаки составили себе славу смелых конокрадов, так что их знали по всей линии и они сами хвалились этим; это не считалось у них стыдом. Между такими табунщиками было двое: один такой молодой — это был Павлюк, тот самый, который заступился за меня во время набега. Он долго уговаривал меня помогать ему. Сперва я не соглашался. Он толковал мне, что украсть у

своего брата бедняка лошадь, которая составляет все его богатство, большой грех, руки отсохнут, говорил он, а что у хозяина табуна, из которого мы угоним две-три лошади, остается еще целый косяк, это его не разорит, а нам все-таки прибыль. Каждый из нас семейный дома, а пять рублей жалованья, так что хватает на табун да на горелку, а домой послать нечего. Кроме того, каждый хочет возвратиться домой, завестись хатой, жинкой, из бобыля сделаться казаком. — Я тогда был молод, и мне казалось, что он прав, а, может быть, он и взаправду прав... В каждом месте свой адат, у вас украсть грех, а у черкесов — нет. Только стыдно украсть в своем ауле, у своих, которые не боятся тебя, и ежели кто украдет издалека, где его могли убить или ранить, так тот почитается джигитом, молодцом. Поэтому и конокрады почитались молодцами; у них также часто дело не обходилось без крови. В ту зиму, как я жил с ними, двоих убили, а одного так избили, что он помер через три дня. Я сам помню погоню, когда нам очень плохо приходилось. Втроем мы отогнали маленький косяк в пять или шесть лошадей и гнали его че-

рез камыши. Когда услышали погоню, мы гикнули, лошади понеслись, как птицы; пригнувшись на седле к самым гривам лошадей, мы слышали топот ног всё ближе и ближе. По ровному скоку их можно было судить, что за нами гнались на свежих конях, а наши лошади начинали уже тяжело дышать. — «Смотри, что я буду делать, и делай то же, а не то плохо будет», — закричал Павлюк и сукрючил[36] одну из отогнанных лошадей, которые без седла свободно и легко бежали перед нами, помахивая гривой и подняв хвост. Он на всем скаку притянул ее к себе и вскочил ей на спину; лошадь, почувствовав тяжесть седока, понеслась, как стрела, и скрылась из вида. Четыре лошади продолжали бежать перед нами; иногда они останавливались и поднимали головы и раздували ноздри, поворачивая головы против ветра. Я, воспользовавшись одной из этих минут, сделал то же (что и Павлюк) и без узды на дикой лошади понесся в степь, как ветер. Товарищу моему эта штука не удалась, лошадь, которую он сукрючил, стянула его с седла, и он попал в руки к погоне. На другой день он не пришел, а приполз к

нашей кибитке. Он был так избит, что через три дня помер. Долго скакал я по степи, вдруг лошадь моя зашаталась и упала; я слез с нее, — она была уже мертва. Я, взглянув на небо, по звездам узнал, куда мне идти к своему табуну, и пошел, упираясь на укрюк. Долго шел я по глубокому снегу. Ночь делалась все темнее и темнее, небо, заволокло тучами, пошел снег, подул ветер, началась метель. Страшная вещь метель в этих камышах. Ветер ломает стебли и вместе с мокрым снегом обломки камыша бьют вам в лицо; все бело, как саван, в двух шагах ничего не видно, К счастью, со мной была бурка; я завернулся в нее и сел спиной к ветру, заметив сперва направление, в котором должна была быть наша зимовка. Не знаю, сколько времени я сидел, только когда метель прошла, солнце было уже высоко. К вечеру я пришел к нашей кибитке.

Несмотря на эту неудачу, мы с Павлюком продолжали угонять лошадей, и вот как это обыкновенно делалось. Я хорошо умел завывать по-волчьи. Казаки перестали звать меня Зайчиком и звали Волковой; лошадь, на кото-

рой я ездил, так привыкла к моему голосу, что узнавала его и не боялась даже когда я подвывал. Мы с Павлюком подъезжали к табуну; он оставался верхом где-нибудь в кустах; я слезал с лошади, и она подходила к табуну и смешивалась с другими лошадьми. Тогда я и подкрадывался к ним и, забравшись в самую середину, начинал завывать. Косяк, услышав так близко врага, шарахался и пропадавал в облаке снега, одна только моя лошадь оставалась. Я вскакивал на нее и скакал по условленному направлению на несколько верст. Я догонял Павлюка, который уже успевал отхватить косячок. С угнанными лошадьми мы; бывало, скачем до тех пор, пока лошади сами не остановятся. Тогда мы расседывали своих коней, ловили других, седлали их и оставляли на ночь в трензелях и седлах. К утру эти лошади делались уже почти смиренны. Таким образом, в двое суток мы проскачем с угнанными лошадьми верст 300 до границ земли Донской. Там нас всегда ждали покупщики, донцы и калмыки; они или покупали у нас лошадей, разумеется, за дешевую цену, или променивали нам своих, и мы поти-

хоньку возвращались назад.

Одна из таких лошадей, славный рыжий донской конь достался на мою долю, но он не пошел мне впрок. В это время был в Чёрноморье коннозаводчик Уманец. Его лошади почитались самыми дикими во всем Чёрноморье; поэтому, кажется, наследники старого Уманца и перевели этот завод. Табунщики этого косяка только ездили за ним, чтобы знать, где табун; его и не нужно было пасти, потому что в нем были такие злые жеребцы, что ни зверя, ни лошади, ни человека не подпускали к табуну. Несмотря на то, мы с Павлюком угнали в эту зиму 6 лошадей из этого табуна, когда прежде ни одна лошадь никогда не пропадала. За это старый табунщик Уманца побожился поймать меня и представить в город. Зимой это ему не удалось, зато весной я сам попался в руки.

Возвращаясь, мы заезжали на хутор и в станицы, где нас везде хорошо встречали, так как у нас были деньги, или потому, что все знали Павлюка, который везде гулял напропалую. — «Опять я прогулял твою долю, Волковой, — говорил он мне всякий раз, выезжая

из хутора или из станицы. — Уже не говори мне ничего, сам знаю, что стыдно, да что же делать: казацкая натура такая! Уж такой характер уродился! Все отдам тебе, вот тебе бог, все отдам, только пожалуйста не говори мне ничего». Я ничего и не думал ему говорить; мне и в мысль не приходило скопить себе грошей, как говорят казаки, воровством. Я воровал коней от скуки, оттого, что нельзя было охотиться. А это тоже был род охоты: я подкрадывался к табуну так же, как после скрадал оленя или кабана; сарканить лихую лошадь мне доставляло такое же наслаждение, как затравить лису. Но особенно мне нравилось скакать день и ночь за угнанным косяком, который вольно, даже гордо бежал перед нами, изредка забрасывая нас мелким снегом из-под копыт. Мне нравилось, что через двое или трое суток мы являемся совсем в другом краю. В это время я узнал, что на добром коне я действительно вольный человек, — «вольный казак!» как говорят казаки. Я и до сих пор сохранил эту волю, но теперь она меня тяготит, как убитый зверь, которого тащишь на плечах оттого только, что жаль бросить. А

тогда я гордился этой волей. Все меня занимало, даже станицы, в которых я до тех пор никогда не бывал. Обыкновенно заехав к какому-нибудь приятелю Павлюка, расседлав, попоив и накормив коней, я обходил всю станицу. Признаюсь, особенно занимала меня встреча с женщинами, и не мудрено. Верь или нет, только до этих пор, т. е. почти до 20 лет, я и во сне не видел женщин. Эта мысль мне никогда не приходила в голову; да и некогда было, я всегда был занят охотой, так что, когда усталый ляжешь и закроешь глаза, то в темноте между зеленых кругов, которые бегают перед глазами, видишь или фазана, или утку, Или черную морду лисы, или длинноухого косоного зайца.

Раз метель загнала нас на хутор; кажется, его звали Верхнеутюжской. Табунщики, которые жили на нем, ушли в зимовье, и хутор должен был оставаться, пуст, а между тем, подъезжая к нему, мы увидели огонек. — «Нука, Волковой, — сказал мне Павлюк, — подползи к хутору да посмотри, кто там, ты молодец подкрадываться». Я взял у него на всякий случай заряженный пистолет, заткнул его за

пояс, условился с ним, что ежели я завою по-волчьи, так опасности нет; и пополз. Когда я подполз довольно близко, я приподнял голову и увидел в отворенные сени, что в хате горел большой огонь; несколько черных, т. е. смуглых, людей в лохмотьях грелись перед ним. Длинные тени их чернелись на снегу; между ними несколько женщин и детей; подле хаты стояла повозка с поднятыми оглоблями, к одной оглобле был прикреплен конец черного пом. (?) одеяла, раскинутого шатром, под шатром тоже курился огонек. К повозке были привязаны две лошади, покрытых какими-то попонами. Около них ходил, с люлькой в зубах, окутанный в изорванную бурку какой-то человек с непокрытой головой; черные волосы клочьями; висели у него по плечам. Он разговаривал с женщиной, которая стояла против огня; огонь освещал ее лицо, и я долго смотрел на нее. Она была очень хороша, глаза ее блестели, как уголья, щеки покраснелись от мороза, и полные, довольно толстые губы раскрывались, показывая белые зубы. Это были цыгане. Я сунул голову в снег, завыл и лежал так, пока не услышал топот

лошадей. Это был Павлюк.

Мы подошли к хутору, навстречу нам высыпали дети, женщины, мужчины и собаки. Цыгане обступили нас; я пошел привязать лошадей под навес, свистнул своих собак, далим по куску сухаря, и они улеглись у ног лошадей. О корме для лошадей нечего было и думать. Я подошел к повозке, к которой были привязаны лошади наших хозяев; вместо корма там, свернувшись в клубок, лежал цыганенок под изорванным шерстяным одеялом. Одна лошадь была уже отвязана, и молодой цыган гарцевал на ней, несмотря на метель, которая делалась все сильнее и сильнее. Он предлагал Павлюку поменяться с ним лошадьми. — «Доволен будешь, молодой конь, ей-ей молодой! Не конь — огонь!» — кричал он во все горло Павлюку, который уже спокойно сидел в хате. Ему ворожила на руку какая-то старая ведьма, штоф водки стоял уже подле него. Я взошел и сел в угол, раскинув бурку на мелкий снег, который ветер наносил через узкое окно хаты. — «А тебе поворожить, что ли?» — сказала мне довольно молодая баба; и она, взяв мою руку, начала ворожить, Я

почти ничего не понимал, но мне приятно было слушать ее звучный голос, которым она говорила нараспев; «Таланливый, счастливый ты родился, соколик ты мой, и мать твоя таланлива была! Девки тебя любят». И, несмотря на то, что она прямо глядела мне в глаза, я отвечал. В это время в хату вошла и остановилась у дверей, сложив руки над головой, девка, которую я первую увидел, подползши к хутору. Я почувствовал, что я покраснел. Ворожейка посмотрела да меня и на девку, улыбнулась и продолжала: «Да, да, многие чернобровые тебя любят, и казачки и паненки!». Тут Павлюк захохотал: «Ну, ворожейка же ты! Да он верно в первый раз с женщиной говорит.... теперь». — «Да где же это ты, небоже, жил, что и людей не видал?» — спросила цыганка, выпустив мою руку и положив свою руку мне на плечо. Мне показалось, что та с таким участием спросила меня, что я почти невольно ответил ей, рассказав, что я сирота, что я ничего не видал, кроме нашего хутора. А между тем я все поглядывал на красивую девку, стоявшую у двери, мне она очень приглянулась. Она подошла в это вре-

мя к Павлюку.

«Ну-ка, попляши, калмычка», — сказал ей старик. И она запела какую-то женскую песню и забила в ладоши. «Ей вы, подтягивайте», — крикнула она. К ней подошла еще женщина и два цыганенка, и все пели, даже баба, которая сидела со мной, подтягивала из своего угла. Я слушал это пение и смотрел, как калмычка кружилась перед пьяным Павлюком, который из всех сил стучал каблуками по земле, приговаривая: «Молодец, девка! Гарно! Гарно, очень гарно! Ей-ей, гарно!» И действительно, она гарно танцевала. Она была легка, как птичка. Красный платок, повязанный через плечи, развевался над ее головой; иногда, взяв конец платка, она закрывала лицо, так что видны были только глаза, которые блестели из-под длинных ресниц. Она была очень хороша!

И вдруг она остановилась, Она вся дрожала, потом потихоньку она опустилась и села подле меня, сложив руки на коленях, положив на них голову. Она пела, уставив глаза перед собой. Между тем пляска и пение продолжались. Павлюк сам плясал, цыгане пели,

но песнь калмычки была не та, которую пели цыгане. Вдруг она обратилась ко мне.

«О чем ты думаешь?» — спросила она. — «Я вспомнил восход солнца, — отвечал я, — когда я был еще мальчик, я часто в кустах около хутора слушал, как все птицы криком и пением встречают день, и песнь соловья покрывала весь этот шум и звучала, как твой голос теперь». — «Так тебе нравится мое пение!» — сказала она и опять запела. Через несколько времени старый цыган, который был запева-лой, что-то закричал отрывистым голосом, и все замолчали, один только голое калмычки раздавался в хате. Павлюк увидал ее и шата-ясь подошел к ней. Она замолчала и вышла. Он хотел идти за ней, но цыгане окружили его, «Оставь ты ее, пан ты мой ясновельмож-ный! Она дурная, нехорошая!» — говорила старая ведьма, удерживая его за руку. Нако-нец, его усадили, и цыгане обступили его и начали опять петь. Их уже столько набралось в хату, что сделалось душно. Худая печка ды-мила, дым ел глаза и ходил по комнате гу-стым облаком. Я вышел на двор. Метель уже утихла, небо было ясно, луна блестела среди

звезд, как царица, радужный венец окружал ее, мороз трещал под ногами. Я лег около наших лошадей и заснул, несмотря на шум, который все продолжался в хате. Я заснул, но мне не снились ни фазаны, ни лисы, ни охота; мне снилась калмычка, красный платок ее все крутился у меня перед глазами так быстро, что я не мог ее рассмотреть; я стал удерживать его, но в руках у меня остались только клочья, а там вдали я слышал жалобный голос: «Зачем ты оторвал мне руку?» Гляжу — в руке у меня мёртвая рука. Не успею бросить ее и сложить руки над головой, передо мной стоит калмычка и глядит мне прямо в глаза. Сон этот и вся эта ночь мне очень памятны, может быть, потому, что после, когда опять встретился с калмычкой, я часто вспоминал об ней, а может быть, и потому, что...

Я заснул на рассвете, но мои собаки разбудили меня. Они сердито ворчали; какой-то цыган отвязывал одну из наших лошадей, цыганка спала со мной, прижавшись в углу сарая. Это была та цыганка, которая ворожила мне. — «Что ты делаешь?» — спросил я цыгана. — «Беру свою лошадь». — «Это не твоя лошадь». — «Нет, моя, казак променял мне ее». — «Как променял?» — «Так, променял, спроси его самого». — «Променял, променял! — кричал пьяный Павлюк, прислонясь к столбу сарая. — Он правду говорит, я променял ему лошадь. Он правду говорит, а ты ничего не говори; я сам знаю, все знаю, что стыдно, только ты мне ничего не говори». И он упал. Я уложил его, одел буркой и он заснул, повторяя сквозь сон: «Знаю, что стыдно — только ты мне не говори, ничего не говори мне!»... Цыган уехал на его лошади: я вышел посмотреть, какую лошадь он выменял. Это была пегая шкапа[37], привязанная к повозке. На повозке сидела калмычка, на коленях у ней лежала голова какого-то нечеса-

ного и немытого цыганенка. — «Что ты это делаешь?» — спросил я ее. — «А вот сам видишь», и она продолжала своими тонкими длинными пальцами разбирать черные волосы цыганенка. — «Что он тебе, брат, что ли?» — «Нет, он такой же сирота, как я, и за то я люблю его», — отвечала она. — «Так ты и меня люби, потому что я тоже сирота», — сказал я, смеясь. Но она посмотрела на меня без смеху и отвечала: «Может быть!» Я облокотился на повозку, и мы стали разговаривать, Она мне рассказала, что она взаправду природная калмычка, что её отец не любил за то, что она не была похожа на него, и продал ее цыганам за полуиздохшую лошадь. Она рассказала мне, что она помнит еще, как будто в тумане, кибитку своего отца, где она играла с маленьким баранчиком, помнит своего отца. Он был седой старик с большим лицом, редкой седой бородой и длинной косой на затылке. Я, все это помню, потому что потом часто вспоминал, об этом; мне всегда казалось, что я отыщу этого старика; мне казалось, что он верно вспоминает и жалеет о дочке, что он обрадуется, когда я скажу ему,

что она жива, что он будет любить меня, как Аталык. Мало ли что мне приходило в голову!

Утром Павлюк очень сердился, что так невыгодно поменялся. Он уговорил меня ехать на его кляче в табун, а сам он на моей лошади поехал в ближнюю станицу: я должен был привести ему туда другую лошадь. «И тогда уж мы воротимся на зимовку, а то стыдно мне, казаку, воротиться на этой шкапе».

Я все исполнил по условию и через два дня уже ехал по дороге к станице, где ждал меня Павлюк. Направо от меня виднелась полуразвалившаяся крыша Верхнеутюжского хутора, только в нем более не светился огонек. Я въехал на двор; протоптанный снег и остатки ковра на том месте, где стояла повозка, да и след ее и несколько наших следов, которые тянулись от хутора в степь — вот все, что оставили цыгане. Я проехал несколько шагов по их следу, потом повернул и поехал своей дорогой.

Павлюк встретил меня у ворот станицы. Мы только накормили лошадей и сейчас же поехали на зимовье. Дорогой Павлюк угова-

ривал меня ехать с ним в Пересыпную[38], где жила его баба и дочь. «Там, — говорил он, — дам я тебе грошей, и ты поедешь к Аталыку, а то мне совестно будет, если ты ни с чем воротишься на хутор. Добрые люди скажут, что Павлюк тебя обманул, а я не хочу этого. Павлюк вор, мошенник, конокрад, а своего брата казака, да еще сироту, никогда не обманывал».

8

Весною, когда снег уже сходил, и в каждом овраге, в каждой водомоине с шумом бежал ручей грязной воды, когда журавли, лебеди и гуси с кряком вились по синему небу, когда жаворонки начали петь, когда показались грачи и ласточки, когда на черной земле появились голубые и желтые цветы, когда в ясную погоду уже видно было на краю небес темно-синее море, мы с Павлюком отправились в Пересыпную. Пересыпная стоит на море, а хата Павлюка стоит совсем на берегу, так что во время прилива море подходит к самым дверям хаты и уходя оставляет на пороге золотой песок и пестрые раковины, между ко-

торами целый день важно гуляла пара белых аистов. Мне давно хотелось видеть море, и первые дни я не мог на него налюбоваться. Каждое утро, я смотрел, как солнце поднималось из воды; и волны, освещенные его лучами, казались мне золотыми, голубое небо вдаль сливалось с синим морем, на котором, изредка, как белая точка, показывался парус, или белая чайка качалась на волне, как в колыбели, и тысячи разных птиц подымались с моря и встречали солнце диким криком, и крик этот сливался с плеском волн и шумом листьев на раинах[39], которые отделяли нашу хату от станичных садов. На этих раинах мы сделали лабаз[40], на котором осенью старик отец Павлюка караулил станичные сады, за что казаки давали ему три монета[41] за осень. Я часто вечером влезал на этот лабаз. Вид оттуда был чудесный: внизу были сады, деревья, покрытые цветами, около них носились стада скворцов, и вились блестящие щуры, распустив на солнце свои золотые крылья. Из-за садов над станицей, как туман, поднимался синий дымок, а дальше видны были снеговые горы, за которые садилось солнце.

Часто, когда я сидел на лабазе, я видел, как хозяйская дочь ходила по дорожке между заборов, по обеим сторонам которой росли высокие раины.

С неделю я уже жил у них, а еще не говорил с ней более двух раз... Раз я застал ее на своем месте на лабазе. Она сидела, свесив ноги, и глядела на море. — «Что ты тут сидишь, Оксана?» (Ее звали Оксана.) — «А ты зачем здесь сидишь по целым часам? Я тебя не пущу сегодня», — отвечала она, смеясь и махая ногами.

«Ну, так я пойду ходить по твоей дорожке». — «Пойдем вместе», — и, опершись обеими руками мне на плечи, она спрыгнула на землю и побежала вперед. Я шел за ней; вдруг она остановилась и обратилась ко мне. — «Ты скучаешь у нас?» — спросила она, глядя мне прямо в лицо своими большими голубыми глазами. — «Отчего я буду скучать?» — «Не знаю, отец говорит, что ты скучаешь, и бранит меня, что я никогда не говорю с его гостем. Что я буду говорить с тобой? Я ничего не знаю, ничего не видала, кроме нашей станицы. Да и там я бываю редко; я лучше люблю

гулять тут в садах или на берегу. Если ты ску-
чаешь с нами, ступай в станицу, там тебе
будет веселей». Она замолчала, подумала
немного и потом вдруг спросила: «Зачем ты
приехал к нам?» Я не знал, что ответить. —
«Не сердись на меня, я так это спросила, я ра-
да гостю, завтра мы пойдем вместе к обедне,
ты не был в нашей церкви?» — «Я никогда
не был в церкви». — «Разве ты не христиа-
нин?» — «Там, где я жил, нет церкви». — «Где
же ты жил?» — «В степи», — отвечал я и на-
чал ей рассказывать мою жизнь так, как я те-
бе ее рассказывал. Она слушала меня молча,
и мы проходили с ней по саду до самой ночи.
Все спало кругом, даже раины спали, опустив
свои серебряные листья; только море шумело,
плескаясь в берег, как будто вздыхая, и
звезды дрожали, глядя на нас с неба, да одно
облако тихо проходило мимо месяца. Я очень
хорошо помню эту ночь; с тех пор мы подру-
жились с Оксаной. По целым дням мы были
вместе: то я ей рассказывал что-нибудь об
охоте, как живут звери в степи, куда улетают
птицы зимой; то она пела мне какую-нибудь
песню или учила меня молитвам, я твердил

их за ней, не понимая.

Раз по ее же совету я пошел к священнику и просил его, чтобы он научил меня молиться. — «Да кто ты такой? — спросил он. — Да крещен ли?» Я не знал, что ему ответить. — «Где ты живешь?» Я сказал. — «Ну, хорошо, я поговорю с Павлюком». И действительно он говорил с ним. — «Охота тебе была ходить к батьке», — говорил мне потом Павлюк. — «А что?» — «Да ведь ты не помнящий родства, а таких берут в москали[42], да и мне могло достаться за тебя. Насилу я уломал батьку».

С тех пор я не ходил к священнику. Раз я пришел в церковь. Священник прислал ко мне дьякона сказать, что я не должен быть в церкви, что я не христианин, а оглашенный. Я не понимал, что это значит, но ушел: мне было грустно и вместе досадно, почему этот старик, этот батька, как звали его казаки, мог мне запретить молиться. Тогда-то мне в первый раз пришла мысль уйти в горы, и я бы непременно ушел, если бы не Оксана; мне не хотелось уезжать от нее, я даже совсем забыл, что мне надо будет ехать на хутор. Я был один на свете, совсем волен, волен как птица, и

жил, как птица, там, где мне было лучше, а у Павлюка мне было хорошо, так хорошо, что я забыл даже про охоту. Иногда только, когда я видел, бегают мои собаки, по берегу, гоняясь одна за другой, я вспоминал про, неё, про, степь, в которой я вырос, и которую я так любил, я мне становилось скучно. Но тут приходила Оксана, и я опять все забывал, слушал ее... Любил ли я ее? Я сам часто спрашивал себя об этом и не знаю сам что ответить. Я любил слушать ее, когда она говорила, любил глядеть на нее, когда она молчала: мне было весело при ней, без нее я часто думал о ней и после долго помнил ее. Помнил всякое ее слово, все мои разговоры.

Раз старый дед ее сидел на лабазе. Оксана стояла против него и перебирала старые сети, которые чинил старик; один конец лежал на земле, а другой был на лабазе у старика на руках. День был жаркий, солнце так и пекло. Я несколько раз говорил Оксане, чтоб она не стояла на солнце, но она смеялась и, покрыв голову венком из зеленых листьев, продолжала перебирать сети. Она была чудо как хороша, я лежал в тени под лабазом и любовался

ею. Вдруг за мной раздался свист соловья. — «Соловей, — закричала Оксана, — Ты любишь соловья, Волковой?» — «Да, я любил одного соловья», — отвечал я и рассказал ей, с каким удовольствием, когда я был мальчиком, я слушал его каждую ночь, как я узнавал его по голосу, как любил его. Оксана смеялась надо мной, но когда я рассказал, как я ждал его, когда он улетал зимой, как я плакал, когда он раз совсем не прилетел, Оксана задумалась. Я спросил ее, о чем думает, она не отвечала.

«А я знаю, о чем она думает, — сказал старик. — Она думает о Бесшабашном. Он тоже как соловей прилетит, поживет, да и опять отправится. А давно что-то его не видать, Оксана. А?». Но Оксана молчала. Я посмотрел на нее и увидел сквозь сеть, которой она хотела закрыться, что она вся покраснела. Часто дед, а иногда и Павлюк говорили о каком-то Бесшабашном. Мне очень хотелось знать, что это за человек, но я замечал, что Оксана не любит, когда говорят про него, и я молчал до того дня, когда священник выгнал меня из церкви. В тот день Оксана воротилась из церкви с заплаканными глазами. — «Ты пла-

кала, Оксана?» — «Да, мне жалко было, что бабушка тебя обидела, я ходила к нему просить, чтобы он тебя простил». — «Разве я виноват перед ним? Разве я виноват, что я не знаю ни отца, ни матери, что я не знаю крещен ли я?» — ответил я с досадой. — «Не сердись на него и ступай к нему — он выучит тебя молиться, сделает тебя христианином. Он мне сейчас говорил, как плохо будет на том свете тем, которые не христиане. Он со мной говорил так, что мне страшно стало за тебя».

Она долго уговаривала меня идти к священнику, — наконец, я согласился. Много говорил, мне хорошего отец Николай, но я не все понимал, что он говорил. Он спрашивал меня о моем детстве; я показал, ему крест, который носил на шее. «Ежели на тебе крест, так, стало быть, ты был крещен, стало быть, ты христианин; тем хуже тебе отказываться от веры», — говорил он и долго он толковал мне о том, что будет на том свете, наконец, благословив меня, отпустил и позволил ходить в церковь.

Когда я воротился, Оксана, видно, дожидалась меня. — «Ну, что?» — «Ничего», — отве-

тил я. — «Ты все на него, сердисься?» — «Нет, я на него не сержусь, а на тебя сержусь» — «За что?» — «За то, что ты мне не сказала, что батька тебя бранил, зачем ты со мной знаешься. Правда это?» — «Правда. Он тебе говорил еще об одном человеке — о Бесшабашном», — сказала она, покраснев. — «Да, что это за человек?» — спросил я. — «Не знаю, — отвечала она. — Он так же пришел к нам, как ты, только это было в страшную бурю ночью. Ветер так страшно дул, что мы боялись, чтоб не сорвало крышу с хаты; я сидела у окна, что к садам, и хоть я родилась на берегу и привыкла к здешним грозам, но на меня иногда находил страх, когда я слышала, как волны разбиваются о берег и как стонет море, ревет буря, и гремит гром. При свете молнии я видела, как ветер ломал деревья и рвал желтые листья и далеко разносил их по садам. Бедные раины гнулись и скрипели так жалостно, что мне хотелось плакать. Вдруг я вижу, кто-то идет от садов к окошку. Я испугалась и отошла от окна; вдруг слышу голос: «Добрые люди! Пустите обогреться!». Я позвала деда, он подошел к окну, поговорил с ним и пошел от-

ворить дверь. Я не могла опомниться от страха: кто такое мог придти в такую страшную ночь. Гость вошел в горницу. Вода лила с его платья; он снял малахай, баранью шапку, привязанную ремнем к голове, перекрестился и, увидав меня, засмеялся. — «Я испугал тебя, красавица. Не бойся, я добрый. Когда мы познакомимся, ты полюбишь меня!»

«И ты полюбила его?» — спросил я.

«Да!» — отвечала она чуть слышно и зарыдала, закрыв лицо руками. Я долго молча смотрел на неё и, наконец, спросил, о чем она плачет.

«О Чем я плачу? — сказала она, подняв на меня глаза. — Я плачу о том, что я его люблю, а он далеко. Бог знает где. Бог знает, жив ли. Я плачу о том, что когда мы сидим с тобой на лабазе и смотрим, как садится солнце, и ты любишься, как краснеет небо, и горы горят, словно в огне, я думаю тогда: это значит, что завтра будет гроза, и, может быть, завтра он придет. И мне грустно и весело вместе. Ты не знаешь его — он всегда приезжает в бурю или в темную ночь. В такую ночь, что каждый добрый христианин боится выйти на улицу и,

затеплив свечку перед образом, молится за странствующую братию, он в такую ночь раза два или три отправляется в море и всякий раз привозит груз товара. Он тогда весел, смеется и шутит, и я весела при нем; а когда он отчалит и плывет к кораблю, на котором чуть виден мелькающий огонек, я сижу у открытого окна и не слышу, как ветер шумит, как дождь льётся, не слышу, как бьется мое сердце. Тогда я не плачу, я вся замираю и не могу отвести глаз от этого огонька, который то пропадет, то опять загорится. — Вот о чем я плачу, Волковой!»

С тех пор я не говорил, с ней о Бесшабашном. Но, странное дело: я чаще стал вспоминать про наш хутор, про нашу степь, про охоту. Со мной была винтовка, которую дал мне Аталык. Я ни разу не стрелял еще из нее: тут я начал учиться стрелять. Днем я стрелял в садах витютней и голубей, а ночью караулил зайцев. Скоро я выучился так стрелять, что убивал витютня на вершине самого высокого дерева, бил зайца на бегу. Когда начался лет дроф, я почти без промаха бил их на, лету. Раз я возвращался с охоты; гляжу, на берегу неда-

леко от нашей хаты лежит вытащенная лодка. Я понял, что он приехал; и действительно, он сидел у огня. Я только взглянул на него и уже осмотрел его с головы до ног. На нем была красная рубашка, кожаные штаны, засученные до колен. Он грел перед огнем свои жилистые мохнатые ноги, на коленях у него был разостлан дорогой шелковый платок, в платке, который был разорван, лежали разные дорогие вещи.

«На, Оксана, выбирай себе гостинец: давно я у вас не был, зато много выработал в это время». Я посмотрел на Оксану; она то краснела, то бледнела и не смела взглянуть на меня. Не я один заметил ее смущение; Павлюк, молча куривший свою люльку, тоже поглядывал исподлобья на нас; один старик был неприговорно рад; он, видно, очень любил Бесшабашного.

«Что ты, братику, — говорил он, трепля его по плечу, — на что нашей Оксане такие дорогие вещи?» — «Что за дорогие, дедушка, посмотрели бы вы, что здесь», — ответил тот, ударив рукой по тюку, на котором сидел. — «А молодец ты, Бесшабашный! Вот выручка,

так выручка, не чета твоей», — говорил старик, обращаясь ко мне. — «Будет с меня», — отвечал я, показывая на пару убитых дроф, которых, не зная что делать, щипала Оксана. «С голоду не умру». — «С голоду не умрешь», — ворчал Павлюк. «Ежели бы я не прокутил то, что мы с тобой выручили зимой, так у нас больше бы было. Да я отдам тебе, Волковой, ей-ей отдам, ты только ничего не говори». — «А ты разве ему должен? Так я за тебя отдам», — сказал Бешабашный. — «Молчи, я без, тебя отдам, был бы только жив я, Павлюк! — закричал он, вынув одной рукой люльку из зубов, а другой стуча себе в грудь. Несколько времени все молчали, потом Бешабашный начал рассказывать свои похождения. Он очень хорошо рассказывал, так что и Павлюк подвинулся, чтобы лучше слушать его, и часто даже забывал сосать свою люльку и должен был ее закуривать по два раза. Я не сумею так хорошо передать, как он рассказывал; да, признаюсь, я мало и слушал его; я смотрел на Оксану, которая, вытянув шею, открыв немного рот, слушала, не сводя глаз с его лица. И много мне тогда приходило в го-

лову всяких мыслей, да про то уж знаю я.

Было поздно, когда мы разошлись. Дед пошел на свой лабаз. Оксана ушла в кухню, я, Павлюк и Бесшабашный легли в хате. Не успел Павлюк докурить своей люльки, как Бесшабашный захрапел. А мне не спалось, Павлюку тоже: он окликнул меня. «Знаешь ли ты, что я думаю, Волковой? Я хочу завтра же прогнать этого молодца», — сказал он, показав на Бесшабашного. — «За что?» — «За то, что моя Оксана очень что-то на него заглядывается». — «Так что ж, чем же он не человек?» — «Чем! А разве ты не знаешь, что он контрабандист!» И он стал мне толковать, что это значит. «Контрабандист — это такой человек, который перевозит запрещенные товары». — «Так что ж, — отвечал я. — Он контрабандист да честный человек. Мы с тобой и конокрады да честные люди». — «Так вот оно как, — сказал Павлюк, — а я думал, что ты того...» — Я молчал. — «Ну, так и так гарно!» — сказал он, обернулся к стенке и захрапел. Я все-таки не мог заснуть. Вдруг дверь из кухни отворилась. На пороге стояла Оксана в одной рубашке, босиком, с голой шеей и руками. —

«Спасибо, Волковой!» — сказала она. Она не спала и все слышала.

Я скоро познакомился и даже подружился с Бесшабашным. Он все уговаривал меня сделаться контрабандистом. Рассказывал про свою жизнь в Тамани, в Керчь-Еникале, в Одессе. — «Вот жизнь, так жизнь, — говорил он, — чего хочешь, того просишь, — водка, вина самые лучшие заморские, музыка, девки, — да какие девки: чернобровые, черноокие — гречанки, армянки, жидовки!» — Я напомнил ему раз об Оксане. — «О, Оксана, это совеем другое дело, — отвечал он; задумавшись. — Когда я наколочу мошну, куплю себе дом где-нибудь в Тамани или Таганроге на пристани, сделаюсь купцом, уж честным купцом, не контрабандистом, тогда я приеду сюда и женюсь на Оксане и тогда уж — баста! Баста шляться по морю в погоду и непогоду, баста кутить! Армянки, гречанки, жидовки... Проваливай мимо».

Не знаю, удалось ли ему наколотить мошну, купить дом, пожениться, и где теперь он и Оксана — бог знает!

Вскоре же после приезда Бесшабашного я

попал в острог и с тех пор не видал их. Вот как это случилось.

9

Не раз, гуляя по берегу, замечал я, что какой-то зверь поедает раковины, которые оставляет на песке прилив. Я сел на сиденку [43] — это было в лунную ночь, светлую как день. Какая-то тень мелькнула на песке, я прилег и стал присматриваться по песку, гляжу — лиса; тут все прежние мои охотничьи страсти разыгрались, руки задрожали, я дал промах! Я не спал всю ночь, рано утром оседлал коня и отправился на охоту за лисом к большому Могинцам. Когда я ехал с Павлюком в Пересыпную, я заметил это место; оно вёрст 20 от станицы, кругом глухая степь; по следам и по огромным позимьям [44], которыми изрыты курганы, я знал, что там, должно быть, пропасть лис. Место это я знал еще прежде; там лето и зиму ходили табуны сотника Уманца, Темрюковского куренного атамана. Я говорил выше, как мы с Павлюком угнали из этого неприступного табуна шесть лошадей и как табунщики дали клятву изловить нас за

это. Я совсем забыл про них, когда поехал на охоту, и вспомнил только тогда, когда увидел на одном кургане их шалаш. Табун должен был быть недалеко. Я знаю, как опасно весной подъезжать к этим диким табунам, но не хотел воротиться, не поохотившись около кургана. Лис было пропасть; я затравил уже трех и ехал шагом, чтобы дать вздохнуть собакам и лошади, когда заметил, что лошадь моя что-то беспокоится, прядет ушами, фыркает и оглядывается. — Вдруг она заржала. Это был жалобный, как будто человеческий крик, полный такого страха, что я вздрогнул. Не успел я оглянуться, как раздался другой, пронзительный визг; это было тоже ржанье. Я слышал гиканье горцев, стон умирающих, вой волков в бурную зимнюю ночь, но такого пронзительного и страшного крика никогда не слышал; как вспомню, так теперь мороз пробежит по коже. Я обернулся. Табун рысью выбегал из-за кургана; земля дрожала под их ногами. Впереди несся жеребец, фыркая и взвизгивая, подняв голову, вытянув шею, разметав гриву и хвост. Я ударил лошадь плетью, она поскакала, но дикий жеребец и за

ним весь табун догоняли меня. Я помню, как стонала земля, как ржали, и фыркали бешено лошади, слышал, как тяжело дышал и водил боками мой измученный конь, который, прижав уши, несся как стрела, но было уже поздно. Все ближе и ближе скакал за мною бешеный жеребец. Я чувствовал его влажное и жаркое дыхание, чувствовал, что он несколько раз уже хватал меня за плечо зубами. Я лег на шею лошади, хотел спуститься ей под брюхо; я висел уж на одном стремяни, беспомощно хватаясь рукой за землю, которая, казалось, уходила из-под меня; я помню, как бешеное животное ударило передними копытами по седлу, как моя лошадь стала бить задом. Больше я ничего не помню; я упал на спину, небо кружилось у меня в глазах, я умирал!

Когда я опомнился, я лежал связанный на повозке. «Куда меня везут?» — спросил я человека, который правил лошадей. Еще двое ехали верхом подле повозки; это были табунщики Уманца; они подняли меня и везли в станицу к куренному атаману. Куренной отправил меня в Екатеринодар, как беспаспорт-

ного и конокрада. За меня некому было вступить; Журавлев, у которого я жил на хуторе, был простой казак, да он, кажется, и не знал ничего обо мне, — меня посадили в острог.

Через несколько дней, когда я немного оправился от ушиба, меня стали допрашивать. «Кто ты такой?» — «Не знаю!» — отвечал я. — «Пиши: непомнящий родства», — сказал тот, который меня допрашивал, писарю. Писарь записал, тем и кончился допрос, и три месяца я сидел в остроге. Ты не знаешь, что такое сидеть в душной яме, не видать ни неба, ни солнца, не знать, что с тобою будет!.. Извини, я и забыл, что ты тоже пленный!

II

Рассказ о том, как Волковой вышел из острога, как сделался пластуном и как в первый раз убил человека.

1

Три месяца уже сидел я в остроге. Когда, наконец, пришел ко мне Аталык, он не узнал меня: я оброс бородой, нечесанные волосы лежали на плечах, как у цыгана, загар, который прежде не сходил с моего лица, пропал, я казался бледен, глаза мои впали. Радостную весть принес мне Аталык; было средство выйти из острога. Недалеко от Бжедуховского[45] аула Трамда в лесу жил гаджирет[46] Муггай; он был уже старик, но джигит и наездник. У него всегда был притон гаджиретов всех племен; всякий, кто хотел чем-нибудь пожить на линии, шел к Муггаю, и он всякий раз счастливо водил партии хищников на линию. Можно представить, как хотел Атаман достать седую голову этого старика. Он давал за нее 10 червонцев, а в те время это были

большие деньги; но казаки, пластуны, хотя часто бродили в Трамдинском лесу, но без провожатого не решались идти к сакле Мугтая, из жителей ни один не решался быть им провожатым, убить или схватить Мугтая, когда он приходил в аул, никто и думать не смел. Лучшие наездники и многие князья были его кунаками и жестоко отомстили бы за него. Аталык взялся провести казаков к сакле Мугтая и просил за это моей свободы. Атаман согласился; я, разумеется, тоже; я готов был купить свою свободу не только жизнью какого-нибудь горца, которого я в глаза не видал, но и жизнью более мне дорогого человека. А чья жизнь была дорога мне? Аталыка, правда, я любил, но его всегда серьезный вид, его скрытность, его вечные рассказы про канлы, про убийство делали то, что я не очень бы жалел о его смерти. — Павлюк или Бесшабашный? — Я, может быть, даже был бы рад смерти последнего. — Оксана?.. Нет, я никого не любил! Может быть, это было и лучше! Я был сирота, моя жизнь не была нужна никому, и мне никого не было нужно. Мне было нужно небо, солнце и свобода!

С нетерпением ждал я вечера, когда Аталык должен был придти за мной и принести оружие, чтобы идти с ним на это кровавое дело. Сколько раз мне казалось, что он подходит к дверям, и я весь дрожал, как в лихорадке; мне казалось, что сквозь стену я вижу небо и облака, которые бежали по нему, догоняя друг друга. Но это был не он. Это был часовой, который ходил взад и вперед, и стук ружья, когда он останавливался, как будто будил меня, и я снова начинал ждать и смотреть на тонкую струйку света, который проходил в окно моей тюрьмы. Наконец, этот луч поднялся на противоположную стену; это значило, что солнце садится. Опять что-то зашумело; это был Аталык. Он принес мне платье и оружие; я начал одеваться. Я был совершенно счастлив, но не верил своему счастью, до тех пор пока мы не вышли из города и не сели на каюк[47]. Каюк отчалил; я сидел на носу и глядел на город, который как будто убегал от нас, как будто он вместе с солнцем тонул в зелени садов; наконец только кой-где над садами виден был синий дымок, резко отделявшийся от ярко-красного цвета неба. —

Солнце садилось... Я вспомнил Пересыпную и Оксану, но мне не было грустно; я так был счастлив, что я свободен.

Когда мы переправились и поднялись к аулу, ворота уж были заперты. Нас дожидались три казака, которые должны были идти с нами. Аталык сказал часовому, что мы идем на охоту за куницами; с ним была Убуши. Я очень обрадовался, увидав эту собаку; она тоже, кажется, узнала меня и беспрестанно ласкалась ко мне, толкая меня под колено острой своей мордой. Она напомнила мне моего Атласа и Сайгака и это время, когда я был совершенно счастлив, я жалел об них — об собаках! Дурное животное человек, он никогда не бывает, доволен! Я часто смотрю на ястребка, что у нас называется погуль, когда он неподвижно стоит в воздухе, быстро махая крыльями и поводя головой: он верно ни о чем не думает, он верно тогда совершенно счастлив, как человек никогда не может быть счастлив, потому что всегда он что-нибудь носит в голове, или желает чего-нибудь или вспоминает то, что прошло, как я теперь! Зачем я теперь рассказываю тебе то, что давно прошло, рас-

сказываю о людях, которые тоже давно прошли! Зачем тебе знать это? Разве мало тебе своей жизни, что ты хочешь знать чужую жизнь, жить чужой жизнью?!

Мы ночевали у старшины. Утром, когда надо было идти, Убуши захромала. Мы долго совещались между собой (мы говорили по-ногайски нарочно, чтобы хозяева могли нас понимать), как будто нам было очень досадно, что собака захромала; наконец, мы решили как будто идти без нее и ночью караулить оленей. Аталык позвал хозяина и попросил его подержать собаку до завтрашнего утра, простился с ним, и мы пошли.

«А хорошо сделала Убуши, что захромала», — сказал я, — «Да, она знала, что она нам будет мешать. Это такая собака, она все знает», — сказал Аталык и улыбнулся. Я видел, что он шутит, но казаки поверили и важно рассказывали, что есть такие собаки, которые больше знают, чем человек, которые видят духов, что обыкновенно это бывают черные собаки, как Убуши. Они даже с каким-то страхом смотрели на Аталыка, который молчал впереди. Наконец, мы взошли в лес и,

выбрав поляну, сели отдыхать и дожидаться заката солнца. Закусив, казаки легли спать.

Долго мне не спалось; я смотрел на небо, любовался, как облака, проходя мимо солнца, то покрывают поляну тенью и она будто засыпает и только ветер чуть шевелит листья деревьев, словно крадется по лесу, то вдруг поляна освещается, как будто блестит в лучах солнца. Тогда я, закрывая глаза, ложился навзничь и чувствовал, как солнце печет мне лицо, как ветер шевелит мои волосы; мне казалось, я слышу, как идут облака по небу. Я был совершенно счастлив; я так давно не видел ни солнца, ни неба, ни облаков, так давно не был на свободе! Я начал засыпать, когда вдруг слышу какой-то шум, как будто звон над собой; я открыл немного глаза: белые лебеди летели по голубому небу. Я начал думать о лебедях, мысли мои мешались. Я уже начал видеть какой-то сон, когда Аталык разбудил меня.

«Возьми свое ружье и стреляй, — сказал он мне, показывая на лебедей, — я посмотрю, как ты стреляешь, а аульцы пусть думают, что мы охотимся». Я выстрелил. Лебеди вдруг

повернули направо и стали подыматься еще выше; один только как будто пошатнулся при выстреле, потом стал отставать и наконец, кружась, опустился на поляну. Я подошел к нему. Согнув шею, он как-то гордо и вместе жалобно смотрел на меня; какой-то упрек был в его неподвижных, уже мертвых глазах. — Странное дело: я шел убивать человека и мне стадо жаль лебеда! «Зачем я убил его?» — думал я, таща его за шею к Аталыку.

Я уже больше не ложился, сон мой прошел. Я начал разговор с Аталыком. «Что ты сделал с Убуши?» — спросил я. — «Ничего, я подвязал ей ноготь; завтра это пройдет». — «А слышал ты, что говорили казаки?» — «Да, они много правды говорили; многие думают, что у зверя нет души, это неправда! Много звери знают такого, чего не знает человек». Я думал в это время об убитом лебеде: чувствовал ли он свою смерть?

Может быть, и я, который теперь так счастлив, буду через час убит? И мне стало страшно. Я чувствовал тот же страх, как когда въезжал в сосновый лес в Наткокуадже[48]. Я рассказывал тебе об этом. Между тем Аталык

продолжал говорить; я почти не слушал.

— Раз, это было давно (так говорил Аталык), я жил в Абайауле, что в Наткокуадже, — я вышел, чтобы посмотреть гнездо балабана [49], которое заметил прежде. Я шел лесом так тихо, что сам не слышал шума своих шагов. Вдруг слышу — за мной что-то зашевелилось в кустах. Я обернулся; это была чекалка. В ауле тогда жил человек, который имел против меня канлы: я вспомнил о нем. — Не поджидает ли он меня? — подумал я и мне захотелось вернуться. В это время с дерева слетел ворон и скрылся между ветвями, махая тяжелыми крыльями. Я решил идти назад. Не успел я сделать несколько шагов, как встретил того человека, об котором думал: он следил за мной. — И в этот день воронам и чекалкам была пожива. — А птица, сокол например, разве он чует, что должно быть с его хозяином? Раз я выехал на охоту с одним князем. Это было далеко в горах; мы поднимались на гору, где паслось стадо туров. Там, где пасется этот зверь, всегда водятся турачи, или горные индюшки, они кормятся его калом. Испуганные звери стали бросаться один за

другим со скалы в пропасть; я убил одного, который спокойно дожидался своей очереди. Когда мы въехали, из-под ног у нас поднялись индюшки. Мы пустили своих соколов; мой сокол полетел, а сокол князя воротился к нему на руку. — «Эта птица с яиц, — сказал мне князь, — ты знаешь, что сокол не бьет самки с гнезда». Но мой сокол поймал птицу, это была холостая самка. Я советовал князю вернуться, но он не послушался, мы поехали дальше. Возвращаясь, нам надо было проезжать мимо аула, где жил один беглый холоп князя; когда мы проезжали, он выстрелил по нас и ранил одного узденя. Князь приказал взять его и вслед за своими узденями он въехал в аул. Жители начали стрелять из сакель, и князь был ранен. Едва мы привезли его домой, он через час помер. Стало быть, сокол чуял...

Но я более не слушал; на поляне показались чекалка и, подбежав к спящим казакам, начала грызть сапоги у одного из них. Аталык бросил в нее палочку, которую стругал: она нырнула в терновник, и белые цветы, как дождь, посыпались с кустов и засыпали ее след. Через несколько минут раздался про-

тяжный вой. — «Слушай, — сказал Аталык, — она чует кровь!»

Казачи проснулись. Солнце уже садилось: мы пошли далее. Чем дальше мы шли, тем гуще становился лес. Долго шли мы без дороги, наконец Аталык остановился и приказал мне влезть на дерево. — «Смотри направо, — говорил он мне, прижав губы к стволу дерева, и слова его глухо звучали, как будто выходя изнутри дерева. — Видишь ли ты против себя большую чинару; между деревом, на котором ты сидишь, и этой чинарой должен быть овраг. Смотри хорошенько: на одном из деревьев, что в овраге, должен быть лабаз; если так, то слезай скорее, чтобы тебя не видали!»

Действительно, против меня стояла чинара; между ей и мною был тот же кудрявый лес, те же кудрявые верхушки деревьев, кое-где обвитых виноградниками, сожженные листья которого казались пятнами крови. Но между деревьями я заметил пустоту, кое-где терновые кусты в полном цвету белели глубоко подо мной, — это был овраг, но только мой опытный глаз охотника мог его заметить. Хорошо сделал Аталык, что послал меня: ни

один из казаков не увидал бы ни оврага, ни татарина, сидевшего спиной ко мне. Он не мог меня заметить, и я несколько времени любовался зарей; солнце уже село, только длинный ряд зубчатых гор блестел вдали, кругом меня расстилался лес, вдали видена была Кубань. Какой-то странный шум раздался в моих ушах; был ли это шум воды или ветра, который гулял в лесу, или это лес читал свою вечернюю молитву — не знаю. Я слез, и мы пошли далее, Я не ошибся: через несколько шагов мы начали спускаться все ниже и ниже, Я шел за Аталыком; вдруг он скрылся. Я думал, что он оступился и упал, но в это время я сам покатился по крутому скату вниз. Когда я остановился, то почувствовал, что стою по колена в воде: на дне оврага протекал ручей. Мы пошли вверх по ручью, согнувшись, почти ползком. Раздвинув ветви одного куста, Аталык остановился, потом, присев, начал натягивать свой лук.

Я посмотрел через его плечо; на большом гладком камне стоял молодой татарин и набирал воду в медный кувшин. Я взвел курок и слышал, как один за другими взвели курки

казаки. Татарин поднял голову, Аталык вдруг отбросил лук и, бросившись как зверь на татарина, повалил его в воду. Казаки было бросились к нему. — «Вперед, — закричал он, — это только волчонок, а старый волк впереди!» У него у самого глаза блестели, как у волка. Казаки бросились в куст, который был перед ними, и нос с носом столкнулись с врагом. В одну минуту три кинжала глубоко вонзились в его тело, он и не крикнул. Это был сам Муггай. Услыхав шум, он побежал к воде и прибежал к кусту в то время как Аталык повалил татарина; присев, он уже положил ружье на подсошки, когда казаки не дали ему выстрелить. Я был подле Аталыка, который говорил татарину, что он не хочет его, убивать. — «Вставай, беги молча и не оглядывайся!» Но только что татарин встал на ноги, как закричал. — «А! не я виноват», — крикнул тогда Аталык и ударил его кинжалом в голову. Татарин упал. — «Я знал, что он не побежит, он от хорошей крови, — сказал Аталык. — Отец его был горский князь; он отдал своего сына в сенчики[50] к Муггаю, потому что Муггай очень уважали в горах». И Аталык расхвалил

мне его отца и тех из его родственников, которых он знал в горах. Он захотел посмотреть, как умирает этот несчастный, — «И тебе не жаль его?» — спросил я. — «Нет, видно так было написано. Он мешал мне. Видал ли ты, когда у меня на сакле сидит сокол и кругом него с криком вьются ласточки, и он вдруг ударит одну из них клювом и смотрит, как она умирает у его ног! Он не жалеет об ней, она мешала ему!» — В это время подошли казаки: они несли ружье и голову. — «Ну, гайда до дому!» — сказал Аталык, и мы побежали к ручью. Вдруг за нами раздался выстрел: один казак упал. Мы остановились; товарищи стали поднимать убитого; пуля попала ему в затылок. Это был тот самый казак, у которого чекалка грызла сапоги.

«Плохо! — говорил Аталык, осматривая кругом. — Это Хурт, товарищ Муггая, тот самый, который сидел на дереве. Скорее, а то он успеет ещё раз выстрелить».

Не успел он сказать это, как раздался другой выстрел. Я видел синий дымок между кустами и, присмотревшись, заметил черную шапку татарина и блестящий ствол винтов-

ки, которую он опять заряжал. Я приложился, но в это время Аталык оперся мне на плечо и выстрел мой был не верен, но, кажется, я ранил его, потому что он больше не преследовал нас. Мы тронулись. Казаки несли своего убитого товарища, Аталык шел сзади, опираясь на меня. Он был ранен в бок. Когда на выходе мы вышли из лесу, Он перевязал свою рану и когда мы вступали в аул, он уже шел впереди, как ни в чём не бывало. Татары, выходя из сакель, смотрели на нас и покачивали головой, видя, что вместо куниц мы несем товарища. Некоторые подходили к Аталыку и спрашивали, как случилось несчастье, но по лицам их видно было, что они не очень сожалели о том, что называли несчастьем. Наконец, один из них узнал ружье Муггая и заметил окровавленный узел, который висел за поясом у одного из казаков, т. е. голову Муггая, завернутую в башлык. Известие, что Муггай убит, разнеслось по аулу, и татары стали смотреть на нас с удивлением, смешанным с каким-то страхом и ненавистью. Целая толпа мальчишек провожала нас до дома старшины, который встретил нас на пороге. Он по-

здравил Аталыка с счастливым окончанием дела: «Я знал, — говорил он, — что ты не охотиться пришел, а тебя прислал атаман по важному делу». Аталык просил его, чтобы он велел переправить меня с казаками на ту сторону, а сам остался в ауле лечить свою рану.

Возвратившись в город, я был свободен, но не знал, что делать е моей свободой. Казаки предлагали мне вступить в их ватагу, сделаться пластуном. Я согласился!

2

Ты не знаешь, что за люди были в мое время пластуны. В то время в Черноморье было еще очень опасно; каждый день где-нибудь переправлялась партия хищников, где-нибудь в станице били в набат и конные казаки скакали по дороге с криком: «Ратуйте, кто в бога верует! Татары идут!». И при этом крике всякий спешил до дому, бросали в поле работу, пригоняли стада в станицу, ворота запирались; тогда с рушницами и пидсохами [51] в руках выходили из станиц пластуны, и редко удавалось партии уйти, не поплатившись кровью. В то время ночью, когда ворота

станиц запирались, по камышам на берегу Кубани, в степи, на дорогах бродили только звери, пластуны да гаджиреты. А гаджиретов всегда было много, они постоянно скрывались в лесах и камышах. Хоть, например, Арбаш, он три года жил на нашем берегу, знал все протоки, все броды, все тропки от Кубани до границ Черноморья и до степей Калмыцких. Три раза он водил партию к калмыкам и в Кабарду. Сам он был первый кабардинец. Когда в первый раз он пришел в Кабарду с Закубани, то князь аула, в котором он родился, не принял его и назвал беглым холопом; на другой год он опять пришел с Закубани и сжег свой родной аул, своей рукой убил родного брата за то, что он назвал его изменщиком. У нас в Черноморье он не разбойничал, только провожал на обратном пути партию за Кубань, получал от них пешкеш[52] и возвращался опять на нашу сторону. Его убили пластуны нашей ватаги. В то время пластуны были большей частью такие же бобыли, как я, люди, у которых не было ни родных, ни кола, ни двора, которым нечего было терять, кроме жизни и воли; зато они и дорого прода-

вали свою жизнь и дорого ценили свою волю. Они не признавали над собой никакого начальства; редкие из них жили в станице, большею частью, жили на берегу Кубани в землянках среди камышей и лесов. Каждая ватага состояла из девяти или пятнадцати человек, которых свел случай; старший из них был начальник, его называли Ватажным. Ежели кто был недоволен товарищами или Ватажным, он брал свое ружье и возвращался в станицу или присоединялся к другой ватаге; никто не спрашивал его, куда он идет. Точно так же, когда являлся новый пластун, никто не спрашивал его: откуда он.

Когда я пришел в первый раз с моими товарищами в ватагу, никого из казаков не было дома. Мы расположились в пустой землянке; к свету стали по одному возвращаться казаки; некоторые возвратились с добычей: два кабана и одна коза были убиты в эту ночь. «А где Цыбуля?» (так звали казака, убитого в Трамдинском лесу), — спросил один казак моих товарищей. — «Убит, — отвечали они. — Зато вот мы нового привели». Тут только приметил меня Ватажный. «Как тебя зовут?» —

спросил он. «Волковой», — отвечал я. «Имя-то не христианское», — заметил важно Ватажный. — «Да я и не христианин», — сказал я. «Кто же он? Уж не еретик ли какой?» — сказал Ватажный, обращаясь к моим товарищам. — «Нет, так, не помнящий родства», — отвечали они. — «А в бога веруешь?» — стал опять спрашивать меня Ватажный. — «Верую». — «А сало ишь?» — «Ем». — «Ну, та гарно!» — сказал он, и я остался с ними.

Мне нравилась их жизнь. Днем я ходил на охоту или отдыхал, потому что каждую ночь с одним или двумя товарищами мы ходили обрезать следы. Идем, бывало, берегом так тихо, что утки, которые сидят, прижавшись под крутым яром, спокойно спят и не слышат, как мы проходим; только слышно плескание воды, да шум камыша, да плач чекалки, вой волка или крик диких кошек в Кошачьем острове (так назывался лес недалеко от нашей землянки, где водились дикие кошки). По временам мы останавливаемся и прислушиваемся к каждому шороху и слышно далеко, как хрустит по камышу кабан или олень. Раз я шел с Могилкой (это был один из казаков, ко-

торые ходили с нами против Мугтая: — другого звали Грицко Щедрин). Вот слышим мы шорох и все ближе и ближе; наконец, нам стало видно, как шевелятся махавки[53]. — «Это не зверь», — сказал Могила. Тот, кто шел к нам, остановился и тихо свистнул; этот свист едва можно было различить от крика сыча, но Могила узнал его. — «Это ты, Щедрик?» — сказал он, и в это время действительно Щедрик вышел из камыша. — «Вы ничего не видали?» — спросил он. — «Ничего, а что?» — «Ну, так, значит, они остались в Кошачьем острове», — сказал он, не отвечая на мой вопрос. — «Кто они?» — хотел я спросить, но Могила толкнул меня, чтобы я молчал. Видно, дело было важное. Мы пошли молча за Щедриком и через несколько времени подошли к секрету. В секрете лежал Ватажный с пятью казаками. Щедрик начал рассказывать: он был на сиденке, когда мимо него проехала партия черкес: они ехали так близко к нему, что он мог различить каждого в лицо, и он узнал Абаши; потом он шёл по их следу до опушки Кошачьего острова, где кончались камыши. Ночь была лунная, оттого он и не ре-

шился пройти через пере..., а стал обходить Кошачий остров, тут он и встретил нас. Если мы ничего не видали, то ясно было, что они остались в острове; вероятно, они ожидали, когда сядет месяц, чтобы переправляться в темноте около Кошачьего Поста. Мы отправились к Посту; там стоял Прик[54] и семь рядовых, все конные. Стало быть, нас было всего 15 человек, а их, по словам Щедрика, было до полсотни. Мы решили пропустить их и дожидаться, когда Абаши будет возвращаться назад, и если можно, взять его живого. Для этого мы разделились на два секрета и расположились по обеим сторонам брода. Это было в первую квартиру[55] месяца, месяц садился перед самым рассветом. Он уже совсем опустился в камыш, река покрылась густой тенью; изредка только отражаются в ней звезды, да белеет белая пена волны, которая где-нибудь разбивается, набежав на карчь или скользая через отмель на плес. Голоса ночью уже стихали, не слышно было ни воя чекалки, ни крика сыча, только лягушки продолжали кричать, да изредка в лесу отзывался фазан. — Зарница уже блестела на востоке и бе-

лые горы начинали отделяться от серого неба, когда шапсуги подъехали к броду, впереди ехал старик в белой черкеске; это был Абаши. Он первый спустился в воду; за ним по одному стали переправляться шапсуги; мы насчитали их 62! Наконец они переправились и скрылись в лесу. Долго ожидали мы возвращения Абаши и начинали уже думать, что он не воротится. Уже совсем рассвело, когда на той стороне показалась его белая черкеска; он ехал, ничего не подозревая; переправляясь, он даже курил и что-то напевал вполголоса. Наконец он выехал на нашу сторону, остановился и стал выбивать трубку об луку седла. В это время раздался выстрел; по условию стрелял наш Ватажный, и по его выстрелу все должны были броситься на черкеса. Пуля Ватажного попала в голову его лошади, она упала на колени. Старик привстал на стременах и, увидав нас, выстрелил, но не попал. Тогда он закричал; это был отчаянный крик, который далеко раздался по воде. Он вынул шашку и начал отмахиваться; первый, который подбежал к нему, был малолеток из постовых казаков, он упал с разрубленной го-

ловой. В это время раздался выстрел, и Абаши тоже повалился; когда Ватажный подбежал к нему, он был уже мертв.

«Кто стрелял?» — закричал Ватажный. — «Я», — отвечал кто-то из толпы, и старый казак подошел к Ватажному. — «Зачем ты убил его? Разве мы не могли взять его живым, разве нас мало было?» — «Он убил моего сына», — сказал старик, показывая на мертвого казака, и Ватажный молча начал обыскивать мертвого Абаши. Не успел он отрезать ему голову, как часовой закричал с вышки, что шапсуги опять переправляются. Терять времени некогда было, мы разбежались все врозь. Прик. с своими казаками зажег фигуру [56] и поскакал в станицу. Мы с Могойлой шли по берегу; несколько раз я оглядывался назад, но выдающийся мыс мешал нам видеть брод и только зарево фигуры красной полосой отражалось в воде. Вдруг мы услышали за собой топот; мы бросились в камыши и, отбежав несколько шагов, остановились. «Проклятые махавки откроют нас, будем сидеть смирно, авось они проскачут мимо», — сказал Могойла. Действительно, человек 20 проскакали мимо,

как вдруг лошадь одного из шапсугов бросилась в сторону. Он остановил коня и, поднявшись на стремяна, осматривал камыши. Он верно был последним из тех, что погнались за нами, потому что когда он заметил наш след, то начал кричать.

— Вот тебе, чтобы не драл глотки, — сказал Могила и выстрелил. Черкес свалился с лошади: мы побежали. Когда мы перебежали Длинный Лиман, слышно было уже, как трещит в камышах погоня, но мы были почти в безопасности. Лиман, отделявший нас от неприятеля, был топкое болото, через которое конному нельзя было переехать. Тогда Могила пришла, счастливая мысль: он сорвал два пучка камыша и надел на них шапки, а сами мы легли на брюхо и дожидались. Скоро показался один всадник; он прямо бросился в воду, но лошадь его завязла; в это время Могила выстрелил: всадник; свалился с коня. На выстрел прискакало еще несколько человек; с криком и руганью брали они своего товарища: я выстрелил, но дал промах! Я стал заряжать ружье, руки мои дрожали, мне ужасно хотелось попасть в которого-нибудь, но Моги-

да не дал мне стрелять. — «Пусть их забавляются и стреляют в цель», — сказал он. Действительно они начали стрелять в наши шапки, а мы отползли уже далеко, забрались на грудь сухого камыша и любовались этой картиной. Могила преспокойно закурил люльку. — «Отчего это ты не попал, Волковой? А ведь ты порядочно стреляешь». Он видел, как я убил пулей лебедя на лету и стрелял оленя, на всем скаку. — «Не знаю, — отвечал я. — Видно, стрелять в человека не то, что стрелять в оленя! — «Да, это правда! Когда я первый раз стрелял в человека; у меня тоже руки дрожали», — «А попал?» — спросил я. — «Попал», — ответил, — «Это было давно, я был еще малолеток и сидел в секрете. Вдруг вижу, плывет карчь, только — плывет она не так, как следует, а на перекоски, как будто человек, и действительно, это был человек! Черкесин привязал поперх себя сук да и плывет на нашу сторону, бисов сын! Вот я как его пальнул, так он и поплыл уж как следует, т. е. вниз по воде. Уж на другой день его поймали там на низу. И рад же я был, что удостоился, ухлопал бесова сына». Между тем черкесы

продолжали стрелять.

Несколько человек отправились объезжать лиман, но скоро в той стороне, куда они поехали, загорелась перестрелка: они наткнулись на сотню, которая выскочила на тревогу, и шапсуги потянулись назад к броду.

Могила вскочил на камыш и стал ругать и рассказывать им, как он их надул.

«Дурни вы, дурни гололобые!» — кричал он им вслед, хотя они и не могли его слышать.

Мы воротились в землянку. Ватажный разделил между нами деньги, которые он нашел на Абаши (на брата досталось по червонцу с лишним); сам он взял голову убитого и отправился в город к атаману. Атаман дал ему два червонца; говорят, он узнал эту голову, говорят, что Абаши был с ним в сношении и не раз изменял своим. «Не мудрено: он был большой разбойник, дурной человек».

С уходом Ватажного артель наша расстроилась. Товарищи разошлись, иные отправились в станицы прогуливать полученные деньги, другие кое-куда. Я с Могойлой пошел на охоту за порешнями[57] на Крымский

плях. Я был там зимою, но теперь не узнал этих мест. В это время Кубань только что выступила из берегов, мы шли по колено в воде, пока не пришли на маленький остров. Никогда не видал я такое множество волков, лис, чекалок, зайцев и вообще зверей всякого рода на таком маленьком пространстве. Выстрелив по несколько раз и убив трех лис и несколько уток, целыми стаями летавших над нашими головами, мы развели огонь, чтобы высушить свою обувь и приготовить обед из застреленной птицы. Мы оказали этим истинную услугу зайцам, крысам и мышам, которые жили на этом острове, потому что волки и чекалки не смели больше показываться на острове, но они целый день ходили кругом острова и долго завывания их не давали нам спать. Когда смерклось, мы видели, как сверкают в темноте глаза волков и несколько раз чекалки подходили к нашему огню. Эти смелые животные очень надоедали нам, но иногда они занимали меня: я любил смотреть, как они ловят зайцев. Несколько чекалок вместе приплывают к острову и потом разбегаются в разные стороны; чекалки

ложатся на брюхо, так что едва можно различить их серые спинки от бурьяна, в котором они притаились. Одна из них начинает преследовать зайца, издавая по временам жалобный крик подобно плачу ребенка; заяц пускается бежать, но чекалка не перестает его преследовать. Когда заяц пробегает мимо другой чекалки, она тоже начинает его гнать, и таким образом скоро их уже несколько преследуют одного зайца, не обращая внимания на других, которые, испуганные их криками, мечутся во все стороны по острову. Это продолжается до тех пор, пока они не поймают его или пока несчастный заяц не бросается в воду, но и там они преследуют и ловят его. Кроме чекалок, орлы и ястреба тоже преследуют этих несчастных животных. Раз балабан при мне словил матерого зайца и так далеко впустил в него когти, что не мог их высвободить, и я поймал его живьем. Этот балабан был причиной того, что я чуть было не бежал в горы.

Вот как это случилось. Поймав этого балабана, я отправился в Трамду, чтобы подарить его моему Аталыку, который все еще лечился там у одного кунака, ране его не было лучше. Он не вставал с постели, и дочь его хозяина, девка лет 15, постоянно ходила за ним. Хеким [58], который его лечил, уверял, что от этого он не выздоравливает, что женщина не должна подходить к раненому, что рана этого не любит! Но Аталык не верил ему и даже требовал, чтобы Удилина (так звали девку) сидела подле него, говорил, что когда он выздоровеет, то непременно женится на ней и что он уже уговорился с отцом ее насчет калыма. Я свыкся с этой мыслью и стал скоро смотреть на Удилину, как на родную сестру. Мы вместе ходили за раненым. «Теперь, Удилина, — сказал он ей, когда я пришел, — тебе не нужно будет сидеть подле меня по целым ночам; сын мой будет сидеть за тебя». Но она не согласилась уступать мне своего места и, когда ночью я возвращался в саклю, я всегда видел, что она сидит у изголовья раненого, разгова-

ривает с ним или напеваает вполголоса какую-нибудь горскую песню. Я мало бывал с женщинами и всегда дичился их, но к Удилине я скоро привык. Я любил слушать ее звонкий голосок, когда она, как ребенка, убаюкивала старика, любил сидеть против нее, когда, не шевелясь, будто каменная, боясь разбудить больного, она сидит и посмеивается, глядя на меня. Не видишь, бывало, как пройдет короткая летняя ночь, а мулла уж кричит на мечети, и Удилина, обернувшись к востоку, начинает делать намаз. Особенно любил я смотреть на нее в то время: она то опускалась на колени, то опять поднималась и складывала руки на груди, и грудь ее тихо волнуется, глаза опущены вниз и чуть слышно шепчет она слова молитвы. После намаза я обыкновенно отправлялся ходить по аулу с балабаном; каждое утро и вечер я вынашивал эту птицу. Аталык и Удилина не советовали мне ходить одному по аулу; они говорили, что товарищ Мугтая, Хурт, которого я ранил в лесу, тоже лечился в Трамде-ауле, «Если он только выздоровеет, то он подкараулит тебя; да и теперь какой-нибудь кунак его или Мугтая мо-

жет выстрелить по тебе, и ты умрешь так, что никто и не будет знать, кому должно будет платить за твою кровь». Так говорил Аталык, но я не слушал его; мне казалось стыдно сидеть дома из страха; я тогда был молод и искал опасности, как молодая лань ищет воды в жаркие летние дни.

Раз я шел по аулу вечером; вдруг раздался выстрел и пуля просвистала мимо меня; я прислонился к стене какой-то сакли и стал снаряжать ружье; огромное тутовое дерево развесило надо мной широкие ветви, и я был в тени. Вдруг слышу, кто-то дергает меня за рукав. Это была женщина. Я смотрел в это время на улицу, освещенную месяцем, который всходил над аулом, и каждую минуту ожидал, что где-нибудь из-за угла покажется тень моего врага, того, который выстрелил по мне. Ружье мое было готово, руки не дрожали. Бог знает, меня или и его спасла эта добрая женщина, с опасностью жизни вышедшая на улицу, чтобы уговорить меня взойти в ее саклю; она знала, что тот, кто стрелял по мне не поднимет оружия, как только увидит подле меня женщину.

Мужа ее не было дома, и я провел с нею ночь...

Когда утром я возвратился к Аталыку, Удилина встретила меня на дворе; я рассказал ей, что случилось со мной. — «И ты целую ночь боялся выйти? А я считала тебя джигитом», — сказала она. Меня удивил этот упрек. — «Разве не сама ты мне говорила, что не надо без нужды подвергаться опасности?» — сказал я ей. — «Но я тебе не говорила, что надо прятаться в сакли бог знает каких женщин, которые принимают мужчин; когда мужей их нет дома, — заметила она с упреком. — Ты знал, что если ты не придешь в обыкновенное время, я буду беспокоиться; но тебе лучше е этой женщиной, ты при ней забыл меня. А как я боялась за тебя!» — продолжала она говорить, остановившись и подняв на меня свои большие черные заплаканные глаза. — «Когда я услышала выстрел, я вздохнула, как будто пуля пролетела мимо меня. Я не спала всю ночь, но мне кажется, что я видела во сне, как тебя раненого несут к нам в саклю; я прислушивалась ко всему, но слышала только, как кричал сверчок в углу сакли и как билось мое

бедное сердце».

Я ничего не отвечал. Когда мы взошли, я рассказал обо всем Аталыку. — «Ты дурно сделал, — сказал он, — что вошел в саклю этой женщины: тот, кто стрелял по тебе, видел это и он скажет об этом ее мужу и вместо одного врага у тебя будет два». Так и случилось. Стрелявший (это был Хурт, рана которого уже зажила) сказал Масдагару, хозяину сакли, где я ночевал, что я провел целую ночь с его женой, и они вдвоем решились убить меня. Мне нельзя было оставаться в ауле, и Аталык уговорил меня уйти. — «Куда же ты пойдешь?» — спросил он, когда я согласился послушаться его совета. — «Опять за реку, к пластунам», — отвечал я. Тогда Аталык напомнил мне одну вещь, которой я еще не рассказывал тебе. Раз я сидел подле него; он, казалось, спал, прислонясь головой к стене, свернувшись как кошка, Удилина сидела в углу и тоже спала. Я долго смотрел на ее хорошенькое личико с закрытыми глазками и полуоткрытым ртом; сонная она мне показалась еще лучше, чем обыкновенно. Я не вытерпел, подошел к ней на цыпочках и поцеловал ее

в лоб, она не проснулась, а только глубоко вздохнула, как будто хотела сказать что-то. — «Ты думал, что я спал, — говорил мне Аталык, — но я все видел. Утром, когда ты ушел с своей птицей, я рассказал это Удилине; она покраснела. После несколько дней, всякий раз, когда она бывало печально взглянет на тебя, то вся покраснеет; она старалась не глядеть на тебя, не говорить с тобой и никогда не засыпала при тебе. Ты ничего не видел, а я все знал: я догадался, что она любит тебя. Не удивляйся, сын! Старые люди более знают, чем молодые; я много видал людей и говорю тебе: «Удилина любит тебя!» — Я не знал, что ответить ему. — «Женись на ней, — продолжал: старик. — Она хорошая девка, я буду любить ее, как дочь, и я, который всю свою жизнь, более 60 лет прожил сиротой, по крайней мере в последние годы буду иметь семейство; когда я умру, вы похороните меня как следует». — «Но мне не отдадут Удилины, — сказал я. — Ты забыл, что я не магометанин, я гяур!» — «Так сделайся магометанином», — отвечал Аталык.

Мысль, что я могу сделаться татаринном,

что я могу жениться, иметь жену, детей, как и другие, никогда до сих пор не приходила мне в голову. Мне было все равно, буду ли я магометанином или христианином, придется ли мне жить с русскими или с татарами, на той или этой стороне реки. Нигде в целом мире у меня не было родного, не было человека, который любил бы меня. Я задумался. Удилина была прекрасная девка, она любила меня. Аталык уговорил меня. Он должен был вместе с нами бежать в горы. Родители Удилины тоже соглашались. Я просил, чтобы мне дали время обдумать. Чтобы более убедить меня, Аталык рассказывал мне про моего отца, который жил и умер в горах. Я почти решился и даже согласился, чтобы послали за муллою, который должен был меня учить, в чем состоит их вера. Этот мулла был почтенный человек; он был вместе с тем и старшиной Трамдинского аула.

Много говорил он мне о своей вере, хвалил ее, рассказывал, каким блаженством будут пользоваться магометане после смерти, бранил гяуров, рассказывал, что Хазават[59] — есть дело святое и приятное богу, что убивать

гяуров есть обязанность для каждого хорошего магометанина. — «Зачем же ты служишь русским?» — спросил я его. Он улыбнулся. «Затем, что они дают мне жалованье; затем, что, ежели бы мы не служили русским, они бы разорили наш аул. Но подожди, придет время, и мы тоже начнем войну с, гяурами». Тут он опять стал бранить гяуров и доказывал, что не только убивать, но обманывать, обкрадывать, грабить их — дело, приятное богу.

Долго слушал я его, наконец, не вытерпел. — «Ты дурной человек, изменщик, — сказал я, — и вера твоя — дурная вера. Я не мусульманин и не христианин, а я останусь тем, что я был, но никогда не буду изменщиком. Я не приму вашей веры, потому что она не может быть хороша. Бог не может позволять обмана, он наказывает изменщиков, и он накажет тебя; даром, что ты мулла и каждый день совершаешь свой намаз, ты все-таки дурной человек!» Мулла рассердился и вышел, назвав меня гяуром и казаком. — «Да, я казак, — сказал я, когда остался с Аталыком, — и останусь казаком. Скажи это Удилине, а я завтра

ухожу». — «Делай, что хочешь», — сказал Аталык и замолчал. Мы оба молчали; я думал об Удилине; мне хотелось видеть ее, поговорить с ней; мне было жалко расстаться с ней, но я был доволен собой; мне казалось, что я хорошо сделал, не согласившись на предложение муллы.

На следующую ночь я ушел из аула и угнал еще пару волов у старшины. Утром я переправился через Кубань в Екатеринодар: это было в воскресенье во время базара; я продал волов и, встретив человека из Трамды, велел сказать старшине, что если ему не грех воровать у русских, то и русским не грех красть у него.

Через несколько времени я встретился с Масдагаром и Хуртом. Это было осенью. Я с одним человеком из Трамд-аула пошли ночью на охоту; месяца не было, но небо было чисто и звезды блестели сквозь ветви деревьев. Вечно говорящее дерево, белолистка, уже облетело, зато листья дуба шептались между собой, как будто прощаясь друг с другом. В лесу было светло и видно далеко по тропкам, покрытым желтыми листьями, которые шуршали у нас под ногами, несмотря на то, что мы шли так тихо, что слышали, как падал каждый листок, оторвавшийся от ветки. Все напоминало осень; длинные нитки паутины тянулись по лесу между кустами и деревьями, и туман блестел на них, как жемчуг. Осень была теплая и сухая, но в лесу уже пахло сыростью; в оврагах и ямах, куда сквозь густые ветви деревьев, переплетенные плющом и диким, виноградом, почти никогда не проникают лучи солнца, стояла вода и видно было много следов кабанов, которые приходят туда пить и мазаться. Вообще по-

всюду было пропасть кабаньих и оленьих следов, особенно около плодовых деревьев, где земля была покрыта желтыми, как золото, яблоками и грушами или красным, как кровь, кизилом! Кое-где на кустах висели еще прозрачные спелые плоды кизила, калины, кисти барбариса и винограда, и днем стаи осенних птиц, синицы, дрозды и сойки с криком перелетали по кустам. Но теперь все было тихо, изредка только мышь пробегала между корнями деревьев, шевеля сухими листьями. Мы прислушивались к каждому шороху. Вдруг недалеко от нас заревел олень; мы остановились, и он продолжал кричать; мы стали подкрадываться; через несколько минут он замолчал, мы опять остановились. Товарищ мой нечаянно наступил на сухую ветку валежника, и она с шумом поднялась и упала. Звук этот должен был испугать оленя, но, напротив, скоро рев его раздался еще ближе. Мне пришло в голову, что это не настоящий олень. Я сообщил свое подозрение товарищу, и в то время, как он продолжал осторожно подвигаться вперед, я влез на дерево и увидел в нескольких шагах от нас Хурта и Масдагара.

Хурт сидел на корточках, ружье его было наготове на подсошках. Масдагар стоял и, приложив руки ко рту, ревел по-оленьи. Они надеялись этой хитростью приманить нас.

«Гей, Масдагар, что это ты реवेशь?» — закричал я с дерева. Они бросились к ружьям; я проворно спустился с дерева, и мы тоже приготоновились к бою; но, видя, что хитрость их не удалась, наши неприятели возвратились в аул. Мы прошли по их лесу до лесной Трамдинской дороги, где и засели на сиденку. Долго ничего на меня не выходило; только несколько раз заяц выбегал на дорогу, но я не стрелял, ожидая оленя. Товарищ мой выстрелил раз, на меня все ничего не выходило. Вдруг лес зашумел; я припал к земле: на меня скакал олень; я приготовил ружье. Это была молодая ланка; выбежав на дорогу, она остановилась, как вкопанная, вытянув передние ноги, как струнки, и отставив задние, она растянулась, как скаковая лошадь, и прислушивалась, тихо поворачивая голову и приложив уши. Я не стрелял, потому что ожидал солнца и сидел так смирно, что она часто наводила свои большие черные глаза на куст, в кото-

ром я был спрятан, но, не замечая меня, опять опускала голову и лениво, как будто нехотя, переворачивала сухие листья, валявшиеся: по дороге, или, подойдя к краю дороги, вытягивала шею и щипала тонкие ветви деревьев. Вдруг она вздрогнула, выпрямилась и понеслась в лес, она пробежала шагах в трех от меня. Я догадался, что она почуяла самца, и приготовился стрелять. Действительно через несколько минут выступил огромный рогаль; я выстрелил, раненый олень упал, я прирезал его, зарядил ружье и снова сел на свое место.

Недолго сидел я, как вдруг услышал топот: человек 20 вооруженных проехало мимо меня. Я легко, узнал, что это хищники, едущие на линию; у каждого в тороках был привязан бурдюк, все они были завернуты в башлыки, так что видны были одни только глаза, с беспокойством перебегавшие с одной стороны на другую; на одном из них ручка шашки звенела, ударяясь о кольчугу, надетую под черкеску. Подъехав к убитому оленю, они остановились. — «Чок якши, Пирзень!» (Хороший олень! говорили они, смотря на него. — «Посмотри, куда пошел хозяин этого зверя», —

сказал панцирник одному из своих людей. Тот подъехал к кусту, в котором я сидел; я слышал, как билось у меня сердце. Черкес поднялся на стремена, нагнулся и посмотрел в лес. — «Ничего не видно; он должно быть увидал нас, перепугался и бежит теперь по дороге к аулу», — сказал он. — «Якши йол», — смеясь, ответил панцирник. В это время один из черкесов отрезал кинжалом заднюю ляжку оленя, привязал ее к седлу, и они поехали. Когда они скрылись, я вышел на дорогу и пошел к своему товарищу. — «По чем ты стрелял?» — спросил я его. — «По козе». — «Ну, что ж?» — «Ушла!»-т-«Так ступай же в аул и приезжай с арбой: на дороге лежит олень, а меня не дожидайся, я пойду на ту сторону», — сказал я ему.

Товарищ рассказал в ауле нашу встречу с Масдагаром; с тех пор его прозвали Пирзень, и он принял присягу отомстить мне за это прозвище.

Я между тем шел по следу хищников. Не доезжая нескольких сот сажен до Кубани, сакма[60] их повернула направо; она прямо повернула на брод, видно, вожатый их хорошо

знал местность. Я пошел вверх по реке, где должна была быть ватага рыболовов. На ватаге сидели три казака пластуна; я кликнул их. Узнав меня, один из них отвязал каюк и переправился. — «Ну що, черкесин, хиба тревога?» — «Побачим», — отвечал я, и мы подплыли вниз по реке.

Надо тебе сказать, что с тех пор, как я воротился с охоты за порешнями, я все жил на той стороне Кубани, иногда в ауле у кунаков, большею частью в лесу на охоте. Часто, как и в этот раз, я встречался с партиями хищников, и тогда я приходил к реке и делал тревогу на посту или на какой-нибудь ватаге пластунов, и несколько уже партий было открыто по моей милости. Бережной атаман (начальник кордонной линии) знал меня и обещал мне крест. Но зачем мне был крест? Я не был природный казак, я даже не принимал присяги; если я служил русским, то делал это потому, что такая жизнь мне нравилась. Я был молод, ни разу я еще не убивал человека, а уже слыл джигитом, молодцом, и это мне нравилось. Казаки звали меня Черкесином за то, что я одевался по-черкесски, и почитали

меня за колдуна. Бжедухи звали меня как-зак-адиге[61].

Несколько раз случилось мне открывать следы хищников, которые возвращались с Кубани. Раз на линии была разбита большая партия шапсугов; те, кто уцелел, возвращались поодиночке в горы. Я был в это время на охоте и напал на след трех конных; след этот провел меня к Бжедуховскому аулу Дагири. Три лошади были привязаны к ограде, в середине широкого двора стояла сакля, в ней светился огонь. Мне пришло в мысль, что в этой сакле должны были скрываться хищники, лошади которых привязаны к ограде. Ночь была темная, сильный ветер гнал по небу черные облака. Я влез на вал, сухая колючка затрещала у меня под ногами. В сакле послышался разговор, я стал прислушиваться.

«Что это за шум слышал ты?» — спросил кто-то по-шапсугски. — «Ничего, — отвечал другой голос на том же языке. — Это наши лошади».

Уверившись таким образом, что хищники действительно скрывались в этой сакле, я потихоньку спустился опять к лошадям; отвязав

их, я воспользовался минутой, когда сильный порыв ветра с шумом пробежал по камышовым крышам сакли, и тихо отъехал от ограды. Я прямо приехал к старшине аула и объявил ему, что в такой-то сакле скрываются три шапсуга-гаджирета. Он собрал несколько человек, и мы окружили саклю. Хозяин сам был беглый шапсуг. Он вышел к нам и стал уверять, что у него никого нет. «Стыдно тебе лгать, ты уже старый человек. Вот казак все видел», — сказал старшина. Тогда только старик увидел меня и догадался, что ему больше нельзя отпираться. — «Ой, яман, казак-адиге! — сказал он, сжав губы, так что зубы его стучали один об другой. Седая борода его тряслась, он чуть не со слезами начал упрекать меня. — Зачем ты обижаешь меня, старика. Ты знаешь наш адат, ты знаешь, что гость — святое дело для хозяина. Ты знаешь, что я не смогу выдать своих гостей, не положив вечного срама на свою седую голову, что ежели вы обидите или убьете их, то дети их наплюют на мою могилу, а мне уж недолго жить, я старик и никогда никто не обижал меня так! Лучше, если бы вы убили меня зав-

тра вместе с ними на дороге. Разве не могли вы взять их завтра, разве вас мало? Это, видно, бог наказал меня за то, что я оставил родину и пришел жить с вами, неверными гяурами».

И он начал бранить бжедухов: «Вы трусы! Вас целый аул, а вы побоялись трех человек; где вам взять их в чистом поле! Вы изменники, подлецы!»

Этими ругательствами он рассердил старшину. «Что вы слушаете этого старого шапсугского ворона! Идите в саклю!» — закричал он своим людям. Они бросились в саклю, но шапсуги уже ушли через сад. Старшина, хотел посадить в яму Урхая (так звали старика), но я выпросил ему прощение. Старшина взял у меня одну из лошадей; другие остались у меня. За одну из них хозяин ее прислал мне через Урхая 100 монет.

Урхай сделался моим кунаком. «Я думал, — говорил он, — что ты хотел осрамить меня, но я вижу, что ты не хотел меня обидеть. Ты добрый человек и сделал это потому, что ты принял присягу служить русским».

«Я не принимал присяги, — отвечал я. — Я

вольный человек, не казак».

«Зачем же ты служишь русским? Зачем?..» — Я и сам не знал этого. — «Отец мой был хороший человек, воин; мне стыдно ничего не делать и сидеть дома, как бабе», — отвечал я ему.

Я правду говорил, я говорил, что думал. А думал я так, может быть, потому, что я был рожден, чтобы быть воином, чтобы скитаться вечно, убивая себе подобных, и нигде ни в куренях казацких, ни в городских аулах не найти себе приюта. Видно, что так было написано, как говорят татары. А, может быть, я думал так потому, что с малолетства я все слышал про войну. Аталык мой уверял, что мужчине стыдно не быть воином, и я верил ему. Я видел, что русские воюют с горцами; я жил с русскими и стал помогать им. Я не думал тогда, зачем эти люди воюют между собою, зачем они убивают друг друга. Зачем?..

После я слышал, что в России, там далеко за степью люди живут мирно, что там нет войны, даже мужчины ходят без оружия, что даже звери лесные подходят к деревням, волки режут баранов в загонах, лисы таскают

кур с насестей. Зачем, думал я, русские приходят воевать сюда с горцами, зачем? Видно, люди нигде не могут жить спокойно.

Теперь вот уже несколько лет я живу в горах; и в горах тоже, тоже война, ссоры и убийства! Я видел много различных народов и из них знаю только один, который живет между собой, который боится оружия и называет его жестокая вещь. Это — калмыки. Среди них я знал человека; его звали Гелун[62]. Он говорил мне, что их вера запрещает убивать даже животных. Зачем же и русские и казаки презирают эту веру, которая запрещает делать зло кому бы то ни было. Зачем, горцы тоже презирают их и называют их зилан — змеи?

А между тем они добрые люди и вера их — хорошая вера. Много говорил мне про нее кунак мой Гелун, много, может быть, было правды в том, что он говорил, но бог не дал мне разума понимать эти вещи. Одно помню я: он говорил, что звери имеют такие же души, как и люди (Аталык тоже говорил это), что души людей переселяются в животных, что, может быть, и наши души жили прежде нас всех. Может быть! Часто, когда мне случает-

лось жить в каком-нибудь глухом ущелье, где, кроме меня, земли да неба, никого не было, когда я тщетно прислушивался, нет ли еще кого-нибудь живого в этой пустыне, тогда, хотя я и знал, что в первый раз здесь, но мне казалось, что место это мне знакомо, что я видал эти скалы, поросшие лесом и кустами, что я знаю эти деревья, что не впервые слышу шум этих листьев, не в первый раз вижу это небо. Может быть, когда-нибудь прежде я жил в этих диких ущельях зверем или вольной птицей. Может быть, поэтому и теперь жизнь моя больше похожа на жизнь дикого сокола или хищного волка, чем на жизнь обыкновенного человека, у которого есть дом, семейство, дети, есть все то, чего нет у меня. — Может быть! — Но я забыл, про что я тебе рассказывал. Да, помню!

Вот мы плывем с казаком вниз по реке[63]. Вдруг каюк наш остановился на отмели; это был брод. Я вышел по колена в воде, дошел до берега; на песке были конские и человеческие следы: партия только что переправилась. — «Тревога!» — закричал я казаку. «Тревога!» — повторил он, поплыв назад на ватагу. «Тревога!» — отвечали нам с ватаги. Не успел я пройти несколько шагов по дороге к станице, как на Кошачьем мосту сзади меня загорелся маяк; потом навстречу мне прискакали казаки из станицы. Я рассказал им, где переправились хищники, сколько их. Они поспешили, а я пошел на Кошачий остров.

Давно собирался я поохотиться на этом острове. Это был большой бугор, примыкавший одной стороной к Кубани. Река подмывала его, и под крутыми обвалами песчаного берега каждую ночь, прижавшись к друг другу и завернув голову под крыло, ночевали целые стаи уток, а на берегу, на песчаных тропках, всегда видны были следы кошек, ходивших к воде за добычей. С другой стороны об-

мывал остров довольно широкий лиман, поросший густым камышом. Обыкновенно осенью казаки выжигали камыши, но; так как в лимане всегда стояла вода, то огонь останавливался, не дойдя до Кошачьего острова, и сюда скрывался обыкновенно зверь. Остров был покрыт густым кустарником, кое-где возвышались столетние дубы и карагачи; весной светлая зелень мхов смешивалась с розовым цветом гребенчука, и остров был очень красив.

Теперь только сучья деревьев, на которых висели сухие лозы виноградника, чернелись между голым кустарником; вдали в разных местах видны были огненные полосы, которые то потухали, то опять разгорались, как будто перебегая с места на место: это горел камыш. Глухой шум слышался все ближе и ближе, И только мое привычное ухо могло различить в нем топот бегущего зверя: это было стадо коз. Вытянувшись, подняв головы, одна за другой, они прыгали по кустам. Я свистнул. Ближняя коза остановилась; я выстрелил, выпотрошил убитого зверя и повесил его против себя на дерево, а сам снова

стал караулить. Недалеко от меня в кустах остановилось стадо кабанов, сзади проскакал олень, но мне все не удавалось стрелять. Наконец, я услышал дробный топот лисы; почуяв кровь, она остановилась и осторожно стала обходить окровавленное место; занятая рассматриванием этого места, она так близко подошла ко мне, что я мог стрелять в голову, чтобы не портить шкурки. Взяв убитую лису, я опять сел, но было уже поздно: заря уже занималась, с востока потянуло сыростью, звезды бледнели; делалось темнее, только пламя пожараща блестело ярче; утки начинали кричать, и вдали уже слышны были петухи. Выстрел мой испугал кабанов, и я слышал, как они удалились в чащу; мне нечего было больше дожидаться. Я начал снимать шкурку с убитой лисы, вдруг слышу шорох: на дереве против меня, гляжу, огромный кот, осторожно пробираясь между сучьев, подкрадывается к козе, повешенной на дереве; я выстрелил и убил его. Сняв шкуры с лисы и кота и взвалив на плечи козу, я пошел к станице.

Когда я подходил к ней, началась перестрелка, — казаки встретили гаджиретов.

Оставив козу и шкуры у кунака и взяв хлеба на сутки, я пошел в ту сторону, где слышались выстрелы, не умолкавшие ни на минуту: видно было, что бой шел упорный. Но я опоздал; перестрелка мало-помалу утихла, и скоро я встретил казаков, возвращавшихся с тревоги: они вели двух пленных и тащили четыре труппа.

«А где Железняк?» [64] — спросил я. — «Ушел!» — отвечали они.

— «Стыдно же вам, ребята». — «Да, стыдно, — сказал один казак, — попробовал бы ты убить его; стрелять бисовых детей не то, что стрелять какого-нибудь зверя».

Часто слышал я такие упреки и насмешки от казаков, и потому мне еще больше хотелось встретиться когда-нибудь один на один с неприятелем и посмотреть, так же ли легко убить человека, как оленя или кабана.

В этот день я воротился на Кошачий остров, и так как я всю ночь не спал, то, выбрав самое высокое дерево и сделав себе лабаз, я лег спать. Сначала я спал крепко, но под конец мне стали чудиться странные сны.

То я видел Удилину и слышал, как она жа-

ловалась Аталыку, что я ее бросил; я хотел заговорить с ней, но язык не повиновался, и я ревел по-звериному: испуганная девка бежала от меня, я преследовал ее, и вдруг она обращалась в дикую козу и скрывалась в лесу, а я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и какой-то страх находил на меня; я оглядывался кругом, и мне казалось, что из-под каждого дерева на меня наведена винтовка, под каждым кустом сидит неприятель. То мне чудилось, что я на базаре в каком-то большом городе; из окон огромных каменных домов мне кланяются знакомые женские лица, и я никак не мог вспомнить, где я их видал. Вдруг среди базара показался огромный кабан; он шел прямо на меня, фыркая и щелкая огромными зубами, покрытыми белой пеной. Я проснулся; действительно, в нескольких шагах от моего дерева шел кабан. Я схватил ружье, выстрелил, и раненый кабан упал. Приколов его, я пошел в станицу, взял повозку и двух человек; мы опалили убитого зверя, товарищи мои взвалили на повозку и повезли в станицу, а я опять сел около потухшего костра, надеясь, что запах жженой шерсти прима-

нит какого-нибудь хищного зверя; и действительно в эту ночь я убил еще двух лис и трех кошек. Таким образом менее чем в двое суток я застрелил оленя, козу, кабана, четырех котов и трех лис. Такие хорошие охоты удавались мне часто; я считался лучшим охотником по всей линии. Мяса у меня всегда было вдоволь, денег тоже, потому что я всякий год продавал шкур на несколько десятков рублей.

Скоро открылся мне новый промысел. В это время вышел указ, по которому мирным татарам запрещено было носить оружие на нашей стороне реки. Каждый казак; встретив на линии вооруженного татарина, имел право отнять у него оружие, а в случае сопротивления, мог даже убить его. На первое время после этого указа пластуны побили много татар. В это время и мне в первый раз пришлось убить человека; я никогда не забуду этого случая. Это было днем; я шел лесом, вдруг слышу — навстречу мне едет верховой. Я шел лесной тропкой, по которой мог ехать только недобрый человек, т. е. такой, который не желает встретиться ни с кем. Я поти-

хоньку свернул в чащу и стал присматриваться. Скоро я рассмотрел всадника; это был кара-ногай. Длинная винтовка в косматом чехле моталась у него за плечами.

Сердце сильно билось у меня, когда я окликнул его; он хотел скакать назад, но тропинка была так узка, что он не смог повернуть коня. Я легко мог застрелить его, но мне было как-то совестно стрелять в человека, не сделавшего мне ничего. Он соскочил с лошади и бросился в чащу; тогда мне стало досадно, что он ушел, и я побежал за ним.

«Стой, а то моя будет урубить!» — закричал он мне. — «Стреляй!» — отвечал я и продолжал бежать. Пуля просвистала над моей головой, пыж загорелся у меня в папахе. Я сделал еще несколько шагов и увидел его: он торопливо заряжал винтовку. — «Положи ружье», — крикнул я по-ногайски, прицелившись в него. — «Дай мне зарядить!» — отвечал он. Я опустил ружье; сердце у меня не билось; я был уверен, что убью его. Не понимаю, отчего я не стрелял по нем.

Ногай торопился заряжать. Он был очень бледен и не спускал с меня глаз; маленькие

черные глаза его сверкали, как у зверя. Мне опять стало как-то неловко. Пора было кончить! Я выстрелил, и ногай упал, даже не крикнув: пуля попала ему в шею. Я отодвинулся, чтобы кровавая струя, которая высоко била из едва видной раны, не обрызгала меня, и смотрел, как понемногу лицо его белело и делалось все покойнее. Наконец, кровь остановилась; я снял с него оружие; на нем были простой кинжал и прекрасная крымская винтовка. Это было первое оружие, которое я снял с убитого неприятеля. Через месяц у меня было таких винтовок 9!

Но ни одного человека я не убил безоружного или врасплох, как зверя, не окликнув его. Ни за одного человека я не буду отвечать богу. Не смейся! Очень умный человек, священник, говорил мне: не делай того с людьми, чего не хочешь, чтобы и они с тобой сделали. А ежели я убивал людей вооруженных, то пусть и меня убьют так же, как я убивал моих неприятелей. Ни одного человека я не убил безоружного или врасплох, как зверя, не окликнув его. Я всегда был честный человек!..

Примечания

Кровомщения (Все примечания принадлежат редактору статьи А. Е. Грузинскому).

[^^^]

2

Герой романа Ф. Купера «Следопыт».

[^^^]

Воспитатель. У черкесов был обычай воспитывать мальчиков вдали от семьи, поручая их заботам надежного человека, храброго воина. Об этом говорится и в пушкинском «Галубе».

[^^^]

4

Пружок и калева — разные силки, петли для ловли добыча

[^^^]

Нож.

[^^^]

Нора.

[^^^]

Вороны.

[^^^]

Холщовый щит на легкой рамке, который несет перед собой охотник, подбираясь к дичи. На щите иногда рисовалась фигура лошади; отсюда «кобылка».

[^^^]

Щипец — морда собаки.

[^^^]

Обычай.

[^^^]

Когда запорожцы впервые появились в Черном море (самый конец XVIII века), они заставили горцев еще почти не знавшими огнестрельного оружия.

[^^^]

12

То есть, не по снегу, когда следы ясны.

[^^^]

Перепутывание следа.

[^^^]

Магометанская молитва.

[^^^]

Подарок.

[^^^]

Удальцы-полуразбойники, отбившиеся от родных аулов и игравшие роль хищников и у горцев, и у русских.

[^^^]

Черкесский.

[^^^]

Священная война.

[^^^]

Расторопный малый.

[^^^]

Затопляется.

[^^^]

Олень.

[^^^]

Одинокие казаки.

[^^^]

Водяной зверек, норка.

[^^^]

Бедняк, бездомный.

[^^^]

Одно из горских племен.

[^^^]

Шест с петлей на конце.

[^^^]

Стадо овец.

[^^^]

Сирота, бездомный.

[^^^]

Одно из горских племен; русские чаще звали их натухайцами.

[^^^]

Аталык здесь говорит о самом себе.

[^^^]

Питомец.

[^^^]

Возможно, что он был давно очеркесившийся запорожец-старовер.

[^^^]

Имя горы.

[^^^]

Порода диких голубей.

[^^^]

Перемена клейма, чтобы украденную лошадь
нельзя было опознать.

[^^^]

Поймал укрюком на бегу; укрюк — длинный шест с петлей на конце, им табунщики выхватывают из табуна намеченную лошадь.

[^^^]

Кляча.

[^^^]

Станица на берегу Азовского моря.

[^^^]

Пирамидальные тополя.

[^^^]

Помост, настилка.

[^^^]

Монета — рубль.

[^^^]

В солдаты.

[^^^]

Караулить зверя.

[^^^]

Норы.

[^^^]

Бжедухи — горское племя.

[^^^]

Горец-хищник, отбившийся и от своих.

[^^^]

Челнок.

[^^^]

Область горного племени натухайцев.

[^^^]

Порода сокола.

[^^^]

Приемыш, воспитанник.

[^^^]

С ружьями и подсошками.

[^^^]

Подарок, плата.

[^^^]

Верхушки камыша.

[^^^]

Так в оригинале; ясно, что речь о начальнике поста, но что значит сокращенное слово, мы не знаем.

[^^^]

То есть, в первую четверть после новолуния. Не понятно, как попало в казацкую среду иностранное обозначение, производящее здесь впечатление словесного пятна на фразе.

[^^^]

На Кубанской линии между станицами были сторожевые посты; пост состоял из помещения для казаков, сторожевой вышки и маяка или «фигуры», т. е. большого пука сена (иногда осмоленного), привязанного к высокому шесту и зажигавшегося при тревоге.

[^^^]

Норками.

[^^^]

Горский лекарь, знахарь.

[^^^]

Война за веру.

[^^^]

Конный след.

[^^^]

Казак-черкес.

[^^^]

Собственно, так называются буддийские монахи.

[^^^]

См. конец 4-ой главы.

[^^^]

То есть тот, что был в кольчуге, — панцирник, как он звал его выше.

[^^^]